

# Борис Павленок

## КИНО. ЛЕГЕНДЫ И БЫЛЬ Воспоминания. Размышления

*Более двух десятилетий я находился между молотом указаний, идущих «сверху», и наковальней – монолитом творческой среды... Но я благодарен судьбе за то, что она свела меня с миром кинематографа.*

**Борис Павленок**

### Жизнь первая. До кино

#### Глава 1. Дороги, которые меня выбирали

Жизнь моя, условно говоря, состоит из трех жизней – до кино, в кино, и после кино. Я никогда не мечтал о политической карьере и кинематографе. Мои пристрастия с самого раннего возраста лежали в мире линий и красок. Не было большего счастья, чем мечтать с карандашом в руках или, взяв этюдник, бродить по лесам и полям, пытаюсь запечатлеть на картонке бесконечное многоцветье природы. И еще влекла литература. Научившись читать в четырехлетнем возрасте, я еще до поступления в школу осилил и «Три мушкетера», и «Робинзон Крузо», и «Детство» Горького, приступил к «Тихому Дону», перелопатил изрядно кучу книжной макулатуры вроде серий о Нате Пинкертоне и Нике Картере. Много болел и до четвертого класса ходил в школу по два-три месяца в году – рожденный в Белоруссии я не мог справляться с лютыми морозами. Сибирь, куда отец в поисках счастья и богатства увез нас, одарила одного меня и то туберкулезом легких, мы вернулись в Гомель бедняками, как и были. Воздух родины помог изжить болезнь. Между тем я уже проскочил мимо пионерского детства и страшно завидовал тем, кто где-то маршировал под звуки горна и барабанный бой, – в моих школах обходились без этой атрибутики. Будущее свое представлял в художественном творчестве и литературе. Хотелось также быть летчиком, полярником, строителем Днепрогэса и Магнитки. Но никак не комиссаром или героем Гражданской войны, хотя газеты и радио трубили о них никак не менее, чем о покорителях «Севморпути». О них слагались песни и стихи. Но в меня вливались как бы сами собой Пушкин и Маяковский. В школьные годы я любил жечь глаголом сердца людей на всех ученических вечерах. Моим кредо стал завет Павли Корчагина жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. При самодостаточности и погруженности во внутренний мир я, тем не менее, был малым общительным, все мне были друзья, и не было врагов. Не любил писать сочинения по «пройденной» литературе, предпочитал «вольные» темы. По этой причине слыл поэтом и вольнодумцем. Обладал широкими плечами и волнистой копной темно-каштановых волос. Девчонки слали мне предложения «дружить», начиная с восьмого класса. Но «поэт не терпит суеты», я любил их всех, не отдавая предпочтения ни одной. Вероятно, по совокупности перечисленных данных меня, едва поступил в комсомол, избрали секретарем школьного комитета. Это был первый шаг к грехопадению, о чем я в то время не догадывался. Вся наша политическая деятельность сводилась к выпуску стенгазет, проведению спортивных и стрелковых соревнований, лыжных походов. Особое внимание уделялось оборонной работе. По заключении пакта «Молотов – Риббентроп» стало ясно: грядет война, хотя потом нам талдычили о неожиданном ударе. Но мы привыкли думать «наоборот», если нам говорили «белое», значит, считай, «черное».

Я верил партии и любил родину. Особенно то место, где в полукружии столетней дубравы и векового бора поместилась родная деревня Ямполь – порядок домов в одну улицу

с указующим в небо перстом бело-голубой колокольни на краю. Я был типичным продуктом довоенной эпохи с ее идейными установками. Но даже замороченный мальчишеский ум замечал некоторые трещины в монолите коммунистической постройки. И в первую очередь это было связано с политическими репрессиями. Рабочих, среди которых я вырос, мало заботили уклоны и оппозиции, им бы сбиться на кусок хлеба. Жизнь в стране шла двумя параллельными потоками, один – начальство, другой – народ, и они нигде не пересекались. В бараки и временки, набитые трудовым людом, почти не наведывались «малиновые петлицы». Однако газеты читали, и волны политических страстей окатывали общество. Много вызывало недоумение.

Меня до сих пор изумляет тупость тогдашних поваров идеологической кухни. Да и в пору юности я не мог понять, почему поголовно все «враги народа» объявлялись наймитами чужеземных разведок и фашистскими убийцами. Неужели гений и прозорливец Сталин долгие годы не мог разглядеть, что его соратники – Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков и другие – враги Советской страны? Неужели шпионами были все маршалы Советского Союза за исключением Ворошилова и Буденного? Герои Гражданской войны – Тухачевский, Якир, Блюхер, о них слагали песни! Куда смотрело всевидящее НКВД?

Выходило, один Сталин безгрешен, и один он всегда прав. Мне претил поток славословия. Сталин – и вождь, и учитель, и отец, самый мудрый, самый человечный, самый, самый, самый... В конце тридцатых пронеслось поветрие писем великому вождю от всех народов, возвышенные поэтические оды, потоки стихов. Письмо Сталину от белорусского народа включили в программу школы. И это были великолепные стихи, написанные лучшими поэтами! Мы их заучивали наизусть, писали на их основе сочинения.

Из далекой Сибири дошла весточка, переданная устно, что старший папин брат, Степан, арестован как враг народа. Тихий и добрый человек, машинист водокачки, рабочий-интеллигент, книголюб, это он ввел меня в мир литературы. Участник социал-демократического движения с 90-х годов XIX века, дядя Степа работал на транспортном пути политкаторжан, бежавших из ссылки и каторги. В числе его «клиентов» был сам Сталин в час побега пути из Туруханского края в центр России. У дяди Степы хранилась благодарность вождя. Много позднее я узнал, что взяли его по доносу соседа-самогонщика, боявшегося обличения.

Однажды в Гомеле появился папин двоюродный брат, Евстафий Гуликов-Павленок, секретарь райкома в Полесье. Он два месяца скрывался в Москве от местного НКВД, пока не добился через ЦК снятия навета. Наш гость порассказал такого о ситуации в «верхах», что можно было с ума сойти. С тех пор я утратил веру в святость «вождей», хотя слухам и верил и не верил: слишком чудовищно было то, о чем шла молва. Но вскоре стало не до поисков истины. Грянула война, перечеркнувшая и прошлое, и будущее.

17 июня 1941 года я получил аттестат об окончании средней школы, а 19-го был призван на воинский сбор. Выступая перед нами, военком Гомеля, полковник Вайнштейн сказал:

– Если вы, хлопцы, рассчитываете осенью поступать в институты, забудьте об этом. Готовьтесь к боям, со дня на день начнется война.

В приграничье было виднее, чем в Москве.

Ночью 23 июня я под бомбежкой разносил повестки о мобилизации, а 5 июля гордо заявил матери, собиравшейся увезти меня в эвакуацию:

– Если я уеду, кто же будет защищать Гомель? – и потряс английской винтовкой, полученной в ополчении.

Мать упала в обморок, но ее втащили в вагон, и поезд торопливо убежал – через полчаса ожидался очередной налет немецкой авиации на железнодорожный узел. 12 июля, отобрав паспорта, нас, призывников, погнали на восток. Отшагав пешком до Брянска, Орла, Курска, Рыльска, мы вышли почти к линии фронта и вынуждены были бежать снова на восток. Так началась для меня военная бестолковица, закончившаяся в Аткарске, где я пошел добровольцем в воздушный десант. Присягу принимал в день восемнадцатилетия. Потом

были бои, тяжелое ранение, долгие месяцы госпиталей, демобилизация по непригодности к фронтовой службе. По выходе на «гражданку» пошел работать на железную дорогу, где и прослужил до 1948 года, сначала на станции Абдулино, недалеко от Уфы, потом в родном Гомеле.

Вероятно, я бы спокойно влачил чиновничьи годы в управлении Белорусской железной дороги, но вмешалась рука судьбы. Кто-то вспомнил мою активную комсомольскую юность, и я предстал пред очи секретаря горкома партии, Емельяна Игнатьевича Барыкина, в прошлом машиниста паровоза и боевого партизанского комбрига. Он отличался прямолинейностью и большевистской хваткой.

– Не надоело протирать штаны, сидя в канцеляриях? Тебе скоро двадцать пять, образования железнодорожного у тебя нету, хотя и значишься старшим инженером. Перспектив никаких. Изберем тебя секретарем горкома комсомола, примем в партию, поработаешь, потом пошлем на учебу. Согласен?

Он знал, на какие клавиши давить. Многие из моих сверстников учились заочно. Я этого не умел – или учеба, или работа, горбатил чуть ли не сутками. Емельян вскорости умер, меня выдвинули в горком. А потом пошло-поехало: не минуло и двух лет, забрали в ЦК комсомола Белоруссии, а за малым временем рекомендовали секретарем Минского обкома комсомола. Крестными отцами стали два замечательных человека: Петр Миронович Машеров, первый секретарь центрального комитета комсомола, и Кирилл Трофимович Мазуров, первый секретарь Минского обкома партии. Мне удалось воззвать к их добросердечию, и в 1952 году я стал слушателем Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. По возрасту мог быть принят только на отделение печати. Сбывалась моя мечта, ибо проводить собрания, конференции, съезды и писать справки да отчеты, учинять дознания и разносы – это я умел, и меня это не интересовало. Перспектива аналогичной партийной работы в будущем тоже не грела.

Центральная комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ – ЦКШ – была задумана как своеобразный лицей для переподготовки руководящих комсомольских кадров. Молодежь, выросшая в годы войны, училась чему-нибудь и как-нибудь, работа с подрастающим поколением требовала грамотных образованных молодых руководителей. Нас за два года учебы старательно, как мамаша птенцов, насыщали знаниями марксистской теории, литературы, истории, навыками общения с молодежью, а на отделении печати теорией и практикой (меньше всего) журналистики. К чтению лекций и проведению семинаров привлекались лучшие московские преподаватели и ученые. По окончании вручался диплом о незаконченном высшем образовании с правом преподавания истории в средней школе. Обширной была культурная программа. Раз в два месяца к нам приезжали лучшие артистические силы столицы. Много внимания уделялось спорту, сборная по баскетболу ЦКШ успешно противостояла, скажем, баскетболистам МВТУ им. Баумана, а это была одна из сильнейших команд Москвы. Уровень подготовки в школе был высоким, многие из ребят за два года успевали заочно пройти курс Московского университета.

Мне это не светило, потому что дополнительной заботой была семья. Приходилось искать хотя бы небольшой приработок для добывания хлеба насущного и оплаты жилья. Был, конечно, вариант – отправить жену и дочь на два года к моим родителям. Но, во-первых, придется ли они ко двору, во-вторых, жили «старики» небогато, а в-третьих, и это, пожалуй, во-первых, мы не затем поженились, чтобы молодые годы провести в разлуке. Решили сразу и безоговорочно: едем всей семьей. Это было безумием, но счастье и любовь дороже. Стипендия приличная – 1200 рублей, что равнялось окладу секретаря обкома. Но 300 из них надо было ежемесячно отдавать займы государству под обязательство рассчитаться в ближайшие 25 лет, столько же требовали подмосковные хозяева за угол в доме или на веранде. А еще вычитали налоги – подоходный и на бездетность, ибо для очистки от последнего требовалось три ребенка, каковых у меня не было. в народе эту повинность называли «бугаевщиной» или «пох...ной податью». На все про все оставалось чуть больше 500 рублей, как раз на хлеб, капусту, картошку, молоко для малышки и

пшеничную крупу. В погоне за приработками опубликовал в «Московском комсомольце» две-три корреспонденции, рецензию на книгу очерков Вадима Кожевникова о Японии, написал для родной ЦКШ два задника на сцену, за что руководство отвалоило аж 1200 рублей...

Но это так, к слову. Главное было – учеба. Я вгрызался в первоисточники, яростно спорил на семинарах, взыскаю истины, пока не понял, что никто не собирался раскрывать нам глаза на правду. В семинарских прениях допускалась почти неограниченная свобода мнений, но бились мы, стоя по одну сторону баррикады. Аргументы черпали из одного источника – трудов Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, громили троцкистов и уклонистов, меньшевиков и анархистов, но к трудам того же Троцкого, Бухарина, Каутского, Кропоткина или буржуазных философов нас не подпускали. А однажды недвусмысленно указали свое место. Архангелогородец Юра Хамьянов, любитель поэзии, купил у букиниста какой-то журнал двадцатых годов с неизвестным стихотворением Сергея Есенина и похвастал перед школьным библиотекарем. Однако тот углядел в журнале нечто более интересное – статью, подписанную инициалами «Л. Т.», что означало «Лев Троцкий», и «стукнул» в партком. Юрку исключили из партии за пропаганду троцкизма и отчислили из школы. Из этого следовало, что некоторые «первоисточники» отравлены.

Поступая в ЦКШ, я преследовал главную цель – получить диплом. Авторитет школы был достаточно высок, чтобы впредь меня не считали второразрядным работником. Но, кроме того, я хотел поглубже разобраться в марксистско-ленинской теории. Я не был профаном в этом деле, отлично знал «Краткий курс истории ВКП(б)», заглядывал и в труды классиков. Мне был интересен Ленин не только как теоретик и практик, я учился у него журналистскому мастерству. Он был широко образован и виртуозно владел пером, особенно блистая в полемике. Не могли не привлекать в его творчестве и горячность, страстность, умение аргументировать свою позицию. Маркс с его немецкой педантичностью, неумолимой логикой тоже не чуждался разных красок, но, даже сдобривая сухие расчеты юмором, робко прятал его мудрой бороде, Ленин же был по-русски неукротим и порой не сдержан. Сталин умел просто излагать сложные проблемы, раскладывая их на «во-первых», «во-вторых», «итак». Но эта его простота не допускала иных толкований, была категоричной, «так и только так». Он мог плодить догматиков, но не аналитиков. Его работы, как мне показалось, наиболее точно отражали, чего хотят от нас организаторы массового политического образования. Насыщение наших умов теорией не выводило интеллект в зону свободного поиска, а загоняло в русло заданного направления.

Набив оскомину на изучении первоисточников и истратив на конспекты дюжину толстых тетрадей, я понял, что это мартышкин труд. Из толстенных книг довольно было отобрать несколько абзацев. От нас не требовалось глубокого исследования теории. Нас вели по узкому коридору, и вольны рассуждать мы были только в дозволенных рамках, шаг в сторону – опасный уклон. Разбирая полемику Ленина с противниками, я чувствовал недостаточность базы, ибо не знал их аргументации. Я должен был верить Ленину на слово. Знание подменялось верой. Мне предлагалось уверовать в правоту Ленина, как Бога.

Но все же знание, пусть ограниченное, таило в себе опасность. Вороша страницы ортодоксальной литературы, я обнаружил, что весь пафос борьбы партия направляла внутрь себя, разоблачая и уничтожая дух инакомыслия. Каких-либо крупных исторических свершений в общественной сфере до революции коммунисты не сделали, хотя пропагандой раскачивали трон. Понимая, что жесточайший гнет царизма лишал большевиков возможностей активной работы, все же нельзя было смириться с бездействием партии. Даже эсеры, анархисты и некоторые буржуазные партии выступали более организованно, то тут, то там взбаламучивали сонное царство, давали выход народному гневу. А вожди большевизма сидели в эмиграции и выпускали пар, колошматя друг друга и западно-европейских братьев по классу, социалистов, словно они, а не капитал, были главные враги. Революции 1905 года, февральская и октябрьская, фактически возникли и развивались стихийно, под напором масс. Это были типичные русские бунты, и каждый из

них бессмысленный и беспощадный. Разработав теорию борьбы, вожди коммунистов отсиживались вдали от передовой линии боев, подавая действующим функционерам лишь мудрые советы. У них не было структуры, способной возглавить движение масс. Даже октябрьский переворот подготовили Советы, в которых большинство составляли меньшевики и эсеры, большевики после неудачи июльского переворота 1917 года ушли в глубокое подполье. Захватив в октябре власть, они еще долгие годы спорили – строить мост вдоль или поперек реки? Можно построить социалистическое общество в одной, отдельно взятой стране или нет? И как строить?

По-новому увиделась и фигура Сталина, поклявшегося над телом основателя советского государства в верности его заветам. Чем больше я вдумывался в историю партии, тем крепло во мне убеждение, что Сталин был, скорее, последователь не Ленина, а Троцкого с его «перманентной революцией». Достаточно вспомнить, что вся деятельность Третьего интернационала, фактически руководимого Сталиным, была направлена на это. А Великая Отечественная война лишь вынужденно стала оборонительной, благодаря первому выстрелу фашистов. Военная доктрина СССР носила агрессивный характер, ибо основной своей целью имела «экспорт революции» и освобождение Европы от ига капитала. Я убежден, что неверие Сталина донесениям разведки было придумкой. Великий вождь пуще всего боялся первого выстрела с советской стороны – тогда бы не было антигитлеровской коалиции великих держав Запада. Даже став союзниками СССР, они не спешили вступить в войну против фашистской Германии, надеясь, что мы и немцы истощим друг друга, и победителей в Третьей мировой войне не будет. Не случайно и сегодня победа в ней приписывается Америке. Идеологи нынешних наших «заклятых друзей» боятся правды.

Учась в ЦКШ, я носил сомнения в себе, ибо поделиться ими означало вышибить себя из школы и, может быть, вообще похоронить будущее. Надо было зажаться, впереди маячил манок журналистики. Поддержку своих взглядов совершенно неожиданно я нашел у Ленина. К концу жизни он, очевидно, понял необходимость смены курса. В работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» выдвинул идею компромиссов с другими партиями и даже с буржуазией, фактически призвал коммунистов выйти из самоизоляции. Меня поначалу удивило, что на семинарских занятиях теорию компромиссов мы проскакивали, как бы не замечая ее. Но, подумав, понял: Сталин, объявивший себя духовным наследником Ленина, на практике пренебрег этой важнейшей стороной ленинского наследия. Работы последних лет великого мыслителя были объявлены плодом ума нездорового человека. А кто решится опровергнуть Сталина? Завтрашний упокойник? Мы это знали, даже не ведая размаха сталинских репрессий.

Траурный креп покрыл в сознании дни смерти и похорон Сталина. Особенно врезались в память видения пустых электричек, которые мчались сквозь морозную ночь к Москве, завывая на подъезде к безлюдным платформам – въезд в город был закрыт. Там творилось нечто невообразимое. Помню, как мы, делегация города Перово, шли ночной Москвой через Новую площадь прощаться с вождем. По обе стороны скорбной дороги, во тьме стояли тысячные толпы. Над смутно видневшимися головами вился пар от дыхания, и ни слова, ни звука, словно мертвецы оградили прах того, кого еще вчера величали бессмертным. Помню медленный проход по Дому союзов к возвышению, где, утопая в цветах, лежало неожиданно маленькое и сухонькое тело с желтым лицом и легким пухом седины надо лбом. Руки вытянуты вдоль тела. Здесь тишину нарушал плач скрипок и прорывавшиеся время от времени рыдания. Скорбные лица, потоки слез – Москва искренне горевала.

Мы вернулись в ЦКШ, но для меня наступили часы, полные непередаваемой тревоги: моя Дина уехала на прощание вместе с китайской делегацией, сойдя за переводчицу.

По времени они должны были уже вернуться, но их не было, а уже донеслись вести о сотнях трупов на Трубной площади. В толпе, пытающейся пробиться к Дому союзов, люди давили друг друга, опрокидывали автобусы, троллейбусы и коней милицейского ограждения. Одних толкало на смерть горе, других – любопытство. В ту страшную ночь я понял непреодолимость слепого безумства толпы. Бежали минуты, часы, а жена все не приходила,

я в горести сидел над спящей дочерью. Трагедия утраты Сталина померкла перед призраком личной беды. Но, слава богу, все окончилось благополучно, наши слушатели, соединившись с сотрудниками китайского посольства, образовали плотную колонну, взяли женщин в центр, и благополучно прошли в траурный зал. А Трубную площадь москвичи стали звать Трупной.

Я не плакал об умершем вожде, ибо не мог принять его обожествления, не мог подавить сомнений, усилившихся за последние годы. В королевстве датском было не все ладно, и дальнейшие события подтвердили это. Началась суета. Пленумы ЦК перестраивали руководство партией. Политбюро то расширялось до 25 человек, то сужалось до привычных размеров, были попытки сделать руководство коллегиальным, без первых лиц, ликвидировали должность генерального секретаря ЦК, одно время самой крупной фигурой стал Маленков, но не надолго, потом всплыл Никита Хрущев, все чаще в президиумах поблескивали очки Лаврентия Берии. Портреты вождей то снимали, то перевешивали с места на место, в зависимости от близости к вершинам власти. Из родной республики пришла тревожная весть: парторганизация Белоруссии взбунтовалась.

Как всегда, в дни исторических потрясений неведомо откуда поднимается муть сепаратизма. Говорят, с подачи Берии в республиках появились всплески национализма. Не минула чаша сия и Белоруссии. Вероятно, по извету недоброжелателя, а вернее всего, врага, ЦК КПСС снял с работы первого секретаря ЦК КП Белоруссии Н. Патоличева, обвинив в великодержавном шовинизме. Сразу же его приемником был назначен М. В. Зимянин. Расчет был подлый и точный. Патоличев, приемный сын или воспитанник К. Е. Ворошилова, был в свое время завезен в Белоруссию сменой П. Пономаренко, отозванному в Москву. Кстати, и тот был экспортирован из России еще до войны при замене руководителей республики, обвиненных в национализме. Пантелеймон Кондратьевич, прошедший вместе с белорусским народом трагическую дорогу войны и тяготы восстановления разрушенного хозяйства, пользовался непререкаемым авторитетом не только у партийного актива, но у всего народа. Демократичный и волевой, он сплотил вокруг себя честных и авторитетных людей, сумевших в короткий срок вернуть жизнь на пепелища городов и сел. Характерным для него было бережное отношение к кадрам, умение найти и выдвинуть талантливых людей. Николай Семенович Патоличев, человек мягкий, но преданный делу и целеустремленный, продолжил традиции и курс предшественника, быстро стал своим человеком в республике. Обвинение его в великодержавном шовинизме грянуло подобно грому. Белорусам вообще чужда национальная замкнутость. Что же касается русского народа, то мы всегда считали себя частью России, русский язык был вторым (если не первым) родным языком.

Михаил Васильевич Зимянин, уроженец Могилева, вырос на глазах, был, так сказать, «кадр» коренной национальности, свой, хорошо известный. Он несколько лет был первым секретарем ЦК комсомола. Личность неординарная и яркая, веселый и остроумный, быстрый в словах и делах, он стал любимцем молодежи, пользовался уважением партийного актива. Если не ошибаюсь, ко времени назначения его первым секретарем ЦК КПБ он работал заместителем министра иностранных дел. Будучи человеком дисциплинированным и активным, приехал в Минск еще до пленума, где предполагалось формальное избрание его на новый пост. Водворившись в одном из кабинетов ЦК, занялся сколачиванием команды, с которой намеревался работать... И отзыв Патоличева без совета с партийным активом республики, и стремительное водворение Зимянина в надежде, что «своего» не отвергнут, оказалось ошибкой. Парторганизация республики не поддержала инициативу Москвы.

На пленум ехали, как на бой. И грянул бой. Первым попросил слова заместитель председателя Госплана некто Черный, как я понимаю, назначенный главным забойщиком. Поднявшись на трибуну, он обвинил Патоличева в неправильной национальной политике, в пренебрежении белорусским языком, зажиме белорусской литературы, усиленном развитии русских школ и т.д. Он предложил освободить Патоличева от должности первого секретаря. Но фигура забойщика тоже оказалась неудачной, как и вся авантюра.

Слово получил секретарь Гомельского обкома партии Иван Евтеевич Поляков. Этот, в

прошлом комсомольский заводила и остроумец, стер в порошок забойщика. С чего это еврей Черный так обеспокоился судьбой белорусского языка, он ему не более родной, чем русский. Ну, добро бы писатель, поэт, так сказать, кровиночка белорусской земли, они всегда жаловались, что их мало издают, плохо читают. Но почему зампредгосплана полез в проблемы образования и литературы? Кто поручил ему формулировать принципы национальной политики и т.д. и т.п. Ясно, что «казачок-то засланный»! Поляков предложил вопрос об освобождении от должности Патоличева снять с повестки дня, а решение ЦК КПСС считать ошибочным. Следующие ораторы выступили солидарно с Поляковым.

Это был открытый бунт партийной организации целой республики, одной из 16 «сестер». Такого в истории партии не случалось. Пленум прервали, но участникам порекомендовали оставаться в Минске. Два дня прошли в тягостном ожидании. Кое-кто советовал запастись сухарями, так как впереди ничего, кроме тюремных нар, не светило. Но... но в эти дни арестовали Берию, а потиравшего руки в предвкушении обильного урожая министра госбезопасности республики Цанаву срочно отозвали в Москву. Больше в Минске его не видели. Пленум завершили, оставив Патоличева на месте. Когда это решение было принято, зал отозвался аплодисментами, а он заплакал.

Честно сказать, мне было жаль Зимянина, попавшего неумолимые жернова большой политики. Я потом встречался с ним, будучи в Чехословакии, где он работал послом. Михаил Васильевич был по-прежнему обаятельный, острый, веселый и умный. Чехи называли его «послом без цилиндра». Потом, вернувшись в Москву, он стал редактором «Правды», секретарем ЦК КПСС, но в Белоруссии не показывался 25 лет.

Год 1954. Окончена учеба. Заряженный знаниями и сомнениями, я сошел с поезда «Москва–Минск», принял из рук жены дочь и три ящика. Книги, кастрюли, кое-какая утварь и постель. С этим багажом мы явились завоевывать будущее. На завтра поутру я пришел в ЦК Комсомола за назначением, а вышел оттуда и с назначением, и с ключом от жилья. Оказывается, после моего отъезда в ЦКШ Машеров довел до сведения членов бюро факт моего благородства: «Я думал, он попросит сохранить за ним квартиру, а он пришел и сдал ключ». Управляющему делами было поручено по возвращении обеспечить меня жильем незамедлительно.

Жилье было не бог весть какое – комната в бараке, 12 квадратных метров, прямо во дворе ЦК. Но зато – свое, и соседи старые знакомые, работники ЦК комсомола, такая же голь перекатная, как и мы. Новоселье справили, расстелив одеяло на полу, вместо стола был застланный скатертью ящик. Гуляли во всю ширь – бутылка «Охотничьей», хлеб, хамса и крабы – больше в магазине ничего не было, да и денег не было. А назначен я был заведующим отделом литературы и искусства газеты «Сталинская молодежь». Почему именно этим отделом? Можно сказать, что рукою Машерова руководило провидение, ну, а проще – других свободных мест не было. Коллектив состоял из выпускников Белорусского университета, однокашников, знавших друг друга с первого курса. Меня встретили настороженно – пренебрежительно. Только комиссаров нам не хватало, старик, 31 год, бывший секретарь обкома комсомола, наверное, за тупость сослал на учебу, понимаем, как это делается. Они были молодые, щеголяли знанием латыни и, конечно, ведали все и обо всем. Но меня не знали. Я понял, что смогу утвердиться, если научусь всему, что умели эти ребята, овладею всеми газетными жанрами, понятие о которых я все-таки в ЦКШ получил. Я безропотно принимал все поручения, которые давал секретариат – готовил к печати письма, вел переписку с читателями, гонялся за десятистрочной информацией, снабжал некоторые материалы карикатурами – выяснилось, что редакционный художник Жора этого не умеет, расследовал жалобы... Дальше – больше. Сочинил пару корреспонденции, написал статью и, наконец, дерзнул на очерк, да еще проиллюстрировал его. Это уже был высший пилотаж. Мои материалы больше ругали, чем хвалили, но выяснилось, что я умею делать то, чего не умеют другие, и во многих областях знаю больше, чем университетские питомцы. Выяснилось, что хлебнул лиха, прошел большую школу жизни, люблю и умею работать.

Ребятам было невдомек, что я пришел не шутки шутить. Мне надо было становиться на ноги и зарабатывать. Мы начинали жить с нуля, и потому я не гнушался создать, скажем, пятистрочную текстовку к фотографии, хоть и пятерка ей цена, а все-таки деньги. Матерые журналисты, мечтавшие о «подвалах» и «разворотах» были поражены, когда в первый же месяц работы я стал чемпионом в гонорарной ведомости.

– Ты бы поделился секретом.

– Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. А проще – лучше три раза по сто строк, чем один раз триста.

Берясь за любую работу, в том числе и за мелочь, я, помимо всего, оттачивал перо, учился писать емко и лаконично. О том, что меня признали в редакции за своего, мне сообщил весьма необычным образом сидевший напротив меня в комнате Юра Лабун, заведующий отделом спорта, симпатичный малый и отчаянный лентяй. Однажды, прочитав мой весьма зубастый материал, он сказал:

– Знаешь, Борис, а я ведь думал, что ты дерьмо...

– Спасибо за комплимент.

– Нет, я серьезно. Ты, оказывается, наш.

Через полгода меня назначили заместителем редактора.

Работал на износ. Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС был подвижен и плодовит, как обезьяна. Непрерывно мотаясь по стране и за рубежи, произносил длинные речи, и все их надо было немедленно публиковать. Телетайп, который должен был оканчивать работу в шесть вечера, зачастую предупреждал: «Ожидается важное сообщение». И часов в 11 вечера появлялось: «Всем, всем. Сообщение ТАСС. В текущий номер». И следовала речь Никиты Сергеевича на две, а то и три полосы. Готовый номер – в загон, и начиналась лихорадка. Газета готова часам к четырем – пяти утра и, конечно, к читателю попадала только назавтра, но зато слово вождя было увековечено в день произнесения. Разрешение на выпуск в свет каждого номера должен был дать редактор или его заместитель. А поскольку мой шеф бывал в частых и длительных отлучках – болезнь, реабилитация, отпуск, поездка в составе делегации республики в ООН – я месяцами освобождался часам к пяти-шести утра, а в десять опять на работе. Если моя малолетняя дочь однажды утром заставала меня дома, то спрашивала:

– Ты уже из командировки приехал?

Из-за длительных отлучек редактора мне пришлось стать и крестным отцом нового названия газеты. Для нас, журналистов, «оттепель» наступила ранее 60-х годов, и началась она с приходом на пост главного редактора «Известий» Алексея Аджубея. Был он зять Никиты Сергеевича, о котором говорили: «Зять-то он зять, но с него есть что взять». Это был, безусловно, первоклассный журналист и великолепный организатор, враг всяческой рутины. При нем «Известия» ожили, стали интересной как по содержанию, так и по форме газетой – лихие статьи, свободная верстка, обилие фотографий, хлесткие заголовки. Следом потянулись и мы, молодежная пресса. Партийные издания по-прежнему равнялись на сухой официоз «Правды», которую звали «кладбищем талантов», ибо туда отбирали лучших журналистов, чтобы засушить. А «молодежки» принялись дерзать. Пример лихого новаторства подала молдавская. Помню броскую шапку на весь разворот «Укрощение Свислочи». Мы обхохотались. Свислочь, протекающая через Минск, была не то, чтобы речушка, но и не река, приток которой Немига, спрятанный нынче в канализацию, представлялся водной преградой в «Слове о полку Игореве». Какой же была мать-река Свислочь в те времена! А сегодня городские власти начали одевать ее в гранит, не потому, что она бушевала и размывала берега, а для приличия, чтобы не казалась лужей. И, поди ж ты, такая слава! Укрощение!

Наша «Сталинская молодежь» ничем не отличалась от десятка других «молодежей»: серенькая, как воробей, с сереньким шрифтом названия, строго регламентированной версткой – две колонки, три колонки, колонка, подрезка под передовицей, не более двух слепых клише на полосе; на развороте – подвал, два подвала или трехколонник и все



остальное в таком же духе. Пытаясь сделать графику верстки хоть как-то выразительнее, я притащил в редакцию студента художественного института, графика Костю Тихановича. Появились клишированные заголовки, крохотные заставки, фигурка забавного человечка, выделяющего особо важный материал, его почему-то называли Пепкой. Но все это были жалкие потуги. Хотя мы и звались газетой для молодежи, на самом деле оставались общеполитическим изданием и обязаны были публиковать весь официоз. Нужна была коренная ломка. Воспользовавшись тем, что имя Сталина пошло к закату, мы вошли в ЦК КПБ с предложением поменять название, тем более что такие прецеденты в Союзе уже имелись. Внесли хлесткое «Знамя юности» и приложили готовую картинку. Вел заседание бюро ЦК второй секретарь, имевший к идеологии весьма отдаленное отношение. Но предложение, в принципе, было принято, и все же кто-то усомнился:

– Претенциозно, и потом, неясно какого цвета знамя? Давайте попроще, «Молодежь Белоруссии», скажем, а?

На мою ядовитую реплику – редактор был в очередной отлучке, и ответ держал я:

– А молодежь какого цвета?

Последовало:

– Перестаньте дерзить, ишь, распоясались! Вы свободны.

Убитый вернулся я к ребятам. Ответственный секретарь, Саша Зинин, подбодрил:

– Не горюй, Боб. Ты же секретарь партбюро, кто запрещает тебе обжаловать в вышестоящую инстанцию?

Тут же и сочинили письмо на имя секретаря ЦК КПСС М. Суслова. Зная непраздное любопытство бдящих за порядком к письмам в ЦК из республики, переправили письмо в Москву со знакомым пилотом, исключив почтовый ящик. Реакция оказалась неожиданно быстрой. Дня через четыре мне позвонил зам. зав. Отделом пропаганды нашего ЦК:

– Завтра выходите с новым заголовком.

– Но бюро не утвердило, думаем, ищем варианты...

– Какие еще варианты? «Знамя юности»!

Письмо сработало, видимо, сверху последовал добрый втык, коль поднялась такая горячка. Я решил покуражиться:

– Не успеем. Надо же на бронзе резать, а это за один день не сделаешь, – я был уверен, что мой собеседник в типографском деле профан.

Этот человечек, говоривший всегда тихим фальцетом, вдруг заорал в трубку:

– Хоть кисточкой рисуйте! Но чтоб завтрашний номер был с новым заголовком!

– Не знаю, не знаю... – Я положил трубку и вытащил из стола резанный в бронзе роскошный новый заголовок. – Хлопцы, ко мне! Да здравствует «Знамя юности»!

Из партийной копилки ничто не пропадает. В этом я убедился, когда нас поймали на неудачной верстке. На первой полосе оттиснули портрет Хрущева в связи с очередной речью, а на второй клише-плакат вьетнамской женщины, поднявшей над головой винтовку. Если посмотреть газету на просвет, то баба с ружьем, аккуратно, попадает на лицо Генсека. Боже мой, как измывались надо мной в отделе ЦК! Газету вертели и так, сяк, и без конца вздымали руки горе, приговаривая:

Что у вас за порядки, как может такое получаться и т.д.

Я пообещал:

– Теперь буду каждый номер изучать на просвет. Поставлю дежурить насквозь смотрящего.

Это их еще подзадорило. В конце концов меня отпустили помятого, но живого, отослав к секретарю по пропаганде Тимофею Сазоновичу Горбунову (кличка «Сазанович»). Румяный рождественский дед без бороды, но с седым обручиком вокруг мягкой на вид лысины, долго и тихо, по-отечески внушал мне насчет ответственности и тем же фальцетом сообщил, что мне будет объявлен выговор. Я поблагодарил и собрался уходить. Но он задержал мою руку и со старческой беспомощностью упрекнул:

– А то вы все пишете, жалуетесь...

Мне захотелось утешить, погладить его по розовой лысинке, но подумал: а вдруг не так поймет?

Двадцатилетие «Сталинской молодежи» мы отмечали уже с новым названием. На юбилейный вечер в ресторан пригласили многих ветеранов, в том числе и бывшего главного редактора Василя Фесько. Почувствовав себя свадебным генералом, Василий Илларионович малость перебрал и поднял паруса любви. Проще сказать – распустил руки. Костя Тиханович, джентльмен из подмосковного Томилина, не привыкший, чтобы чужой петух топтался в его стаде, вырвав из объятий Василя очередную жертву, вознамерился дать ему в ухо. Я перехватил кулак джентльмена и разъяснил, что бить гостей негоже, тем более, когда это главный редактор партийной газеты «Колхозная правда». Василя закружили в хороводе. Протрезвев от встряски, он увлек меня в тихий угол и предложил:

– Пойдешь ко мне заместителем?

Сочтя это пьяным бредом, я предложил:

Отложим разговор на завтра?

Он обиделся:

– Думаешь, во мне водка говорит? Я давно к тебе присматриваюсь. Пора мне подкрепиться молодым, ты подходишь... Завтра же сватать приду.

Сватовство состоялось, я дал согласие. Пора взрослеть, уже дошел до возраста Христа, а все носил комсомольские штанишки.

## **Глава 2. При большой политике**

Все-таки не минула меня чаша сия! «Колхозная правда» была заурядная общеполитическая газета, того же мышиного цвета, что и остальные. Отличие было одно – в центре внимания ее находилась жизнь села, экономика и технология производства. Хлеб, как известно, – всему голова, и радение о нем – это уже большая политика. Пришлось налечь на специальную литературу и поломать голову, как подать рекомендации, скажем, об искусственном осеменении скота, избегая иллюстраций. Я притащил с собой и художника, джентльмена Костю, который едва не «намылил соску» редактору на балу. Познакомившись ближе, они подружились, и Костя сделал немало, чтобы, выражаясь современным языком, дизайн газеты стал привлекательным. А сделать газету другой, чем прежде, было непросто, ибо мы находились на острие, а Никита Сергеевич был главным специалистом и покровителем деревни. И также главным ее врагом. Я говорю последнее потому, что за годы Советской власти никто не нанес селу такого вреда, как он. Проводя свои реформы, он день за днем убивал деревню.

Войдя внутрь деревенской жизни, познакомившись с десятками организаторов сельской жизни, сотнями крестьян, я понял, что земля только на первый взгляд выглядит неживой и безгласой твердью. А на самом деле она живая, как о все, что произрастает на ней и движется как внутри, так и на поверхности; что она требует нравственного отношения, ласки и нежности. Я осознал боль землеробов, которые видели, как по-варварски терзали тело земли на целине, как бездумно кроили, и перекраивали наделы, не считаясь с севооборотами, согласно «рекомендациям», как вытягивали из почвы последние соки, высеяв зерно по зерну. И все ради сиюминутной выгоды. А она, матушка-землица, напрягалась изо всех сил, пытаясь прокормить ненасытного человека, и старела, дряхла, обращаясь в омертвелый и бесплодный прах.

Мы в газете вели двойную жизнь. С одной стороны, должны были выполнять заказ хозяина, публикуя дурацкие директивы и черня несогласных с ними. А с другой, – взывать к разуму и бережному велению хозяйства, заботясь о повышении плодородия почвы, сохранении извечного кругооборота жизни в теле земли.

Я поражался и поражаюсь мужеству, долготерпению и неиссякаемой энергии народа. Помню, с каким энтузиазмом был подхвачен молодежью призыв Никиты Сергеевича освоить

целину. И сам чуть не попал в этот мощный поток, еле отбилсЯ от предложения уехать на работу в целинную молодежку. Общение с землей требует вдумчивости и неторопливости, ибо плоды труда выявляются через годы. Целинная авантюра Генерального думающим людям была ясна с самого начала – какие же затраты потребуются, чтобы переселить и обустроить миллионы людей в голой степи, собрать технику, поднять целину на миллионах гектаров. Услужливые холуи подсчитали выгодность сделки. А страна потом много лет кашляла, бросая, как в прорву, автомашины и комбайны в помощь целинникам, дабы получить пресловутый миллиард пудов зерна. За пять лет тысячи и тысячи гектаров плодородного чернозема Казахстана и Алтая были истощены варварским использованием. Между тем впятеро меньше первой целинной затраты требовалось, чтобы провести грамотную мелиорацию земель Белоруссии в густо населенных районах и получить тот же результат.

Целинная авантюра было только началом наступления на деревню. Потом была объявлена война травопопыцникам и разрушены севообороты;

съездив в США, штат Айова, Никита Сергеевич влюбился в кукурузу, и начали внедрять теплолюбивую культуру чуть ли не за Полярным кругом;

отменили натуральную оплату в колхозах, переведя имущие и неимущие на денежную оплату, хотя некоторые хозяйства даже забыли, когда у них водились деньги на счетах;

принялись укрупнять колхозы, идеал – один колхоз – один район, артельные наделы были окончательно обезличены, крестьянин потерял чувство хозяина земли;

запретили держать больше одного поросенка в одном дворе;

потребовали до минимума городского двора урезать приусадебные участки, лишив колхозников садов и огородов;

взялись сводить личный скот на колхозные фермы – пора, мол, отвязать женщину от коровьего хвоста, пусть лучше делает маникюр;

ликвидировали МТС, продав всю технику колхозам – одним ударом деревня была разорена, как при насильственной коллективизации, техника лишилась квалифицированного ухода и ремонтной базы, а колхозы удушены долгами;

создавали гигантские животноводческие комплексы, через год они вырастили вокруг себя горы навоза, вывоз которого на поля, равно как и подвоз кормов со всей области, стоил почти столько же, сколько полученная говядина, а навоз поплыл в реки, убивая в них все живое;

во многих районах свозили хутора, ликвидировали «неперспективные» деревни...;

добрались и до партии – создали в каждой области по два обкома – сельский и городской, а фактически, две партии...

И по каждому почину совместное постановление Совета министров и ЦК КПСС. За неисполнение – все кары земные небесные на головы виноватых и безвинных.

Мы, белорусы, народ неторопливый, «разважливый», то есть рассудительный. Наши Совмин и ЦК добросовестно дублировали все московские документы, но исполнять не то ропились, а по некоторым «указивкам» даже и бумаг не писали. Так было с постановлением уничтожить в личных хозяйствах всех свиней, кроме одной. Тянули два года, пока у Никиты Сергеевича не лопнуло терпение. Первому секретарю ЦК Белоруссии Кириллу Трофимовичу Мазурову позвонил от имени Хрущева секретарь ЦК КПСС Поляков с вопросом: есть ли в Белоруссии партийное руководство, и до какой поры белорусы будут партизанить? Немало горьких слов прибавил от себя. Собрали бюро ЦК и продублировали московскую бумагу. А через несколько дней на места пошел циркуляр Совета министров республики с разъяснениями: по нему выходило, что надо наладить планомерную ротацию свиного поголовья в личных хозяйствах, а значит, можно держать поросенка, полугодовалого подсвинка и товарного кабанчика.

По поводу создания двух партий Никита Сергеевич явился лично в Минск. Кирилл Мазуров представил свой проект, исходя из особенностей не крупной республики. Было намечено оставить областную структуру прежней, а горкомы – их было всего 70 – подчинить

напрямую ЦК. Разгневанный Никита всером пустил по кабинету Мазурова бумаги и принялся кричать свое излюбленное:

- Опять партизаните!
- Вы же просили дать наши предложения...
- Но я сказал, какими они должны быть! А вы отсебятину порете!

Редакции «Колхозной правды» было поручено изучить опыт самого передового хозяйства страны, колхоза имени Кирова Мичуринского района, где председателем была дважды Герой Социалистического Труда Андреева. Наша делегация состояла из председателя колхоза имени Кирова Минского района Саши Лишай, бригадира овощеводческой бригады Василя Федоровича и доярки Ани. Ехали вызвать на соревнование самый-самый колхоз. В Мичуринск мы прибыли морозным зимним вечером. Естественно, гостеприимные хозяева не встретили. Устроившись в гостинице, И шли шикануть – поужинать в ресторане. В полутемном зале оказались одни, и полусонный официант предъявил нам ню в котором значилась тертая редька с постным маслом, хлеб и чай. Саша жестом бывшего гуляки взмахнул рукой:

- Угощаю! Человек! Всю карту три раза!
- Чево? – не привыкший к широким жестам, тощий, как селедка, малый растерялся.
- Эх, деревня... Всем по две порции редьки, полбуханки хлеба и чайник кипятку.
- Сделаем! – он лихо перекинул полотенце с руки на руку.
- Василь, сбегай в номер, тащи сало и ветчину, найдешь в моем чемодане. И пару бутылок прихвати. Едешь на день, бери харч на неделю... А уж завтра в колхозе толком отобедаем, – широкий по натуре Лишай все еще надеялся, что с восходом солнца хозяева оттают.

– Не разгоняйся, Петрович. Они сдали государству по 280 центнеров мяса на сто гектаров пашни, а у них-то пашни всего 800 гектаров. Только-только, чтоб вырастить эти центнеры. Сейчас, небось, и мышь из-под печи нечем выманить, – остудил я пыл главы делегации.

Деревня производила впечатление холодного неуютта – серые дома вытянулись вдоль улицы, как воробьи на проводах – вроде бы и рядом, а вроде и поособку. Я никак не мог взять в толк, что же в этом порядке непривычного. Наконец, дошло: и спереди, и сзади ни деревца, ни кустика, ни садика, ни палисадничка. Нет заборов между усадьбами, так, какие-то выгородки из разномастного материала – почернелых Досок, прясел, кольев. И почти нет надворных построек. Это же колхоз будущего! Без приусадебных участков, коров, садов и огородов. Поражало безлюдье. Встретивший нас заместитель председателя колхоза Николай Ефимович (фамилию не помню) давал первую информацию у входа в правление:

– Извините, сама в отъезде, на Кубани делится опытом, обещала завтра быть, может, и вас примет, – сказал он это вроде бы и без задней мысли, а по лицу, изрядно помятому жизнью, скользнула ироническая усмешка. – Я и о вашем приезде узнал случайно, от бухгалтера, сама забыла мне передать. Бабий ум короткий, а тут еще заботы нехорошот – то в Кремль надо, то на ученый совет в академию, или опыт передавать. Нарасхват, знаете ли...

В нашу беседу вторгся неизвестно откуда появившийся мужик в треухе, ватнике и валенках, потянутых автомобильной камерой. Он заголосил сразу на высокой ноте:

– Ездите?! Смотрите!? Ездите, ездите, смотрите на горе наше, на нищету нашу! Как же, первая женщина, дважды Герой Социалистического Труда, доверенная самого... Кого?.. О-го-го! Сказал бы, да боюсь подвести вас. С меня взятки гладки, я деревенский придурок, а вы, небось, в чинах, поотрывают вам языки, чтоб не болтали...

Николай Ефимович, вроде бы не слыша воплей, сказал:

– Может, зайдём в правление?

Поднимаясь по ступенькам, Лишай попросил:

– Я хотел бы для начала баланс посмотреть за прошлый год. Бухгалтер на месте? Мне с ним сподручней потолковать, я сам колхозную бухгалтерию вел добрый десяток лет.

– Бухгалтер на месте, да баланс в сейфе у хозяйки, она его никому не открывает...  
– Тогда посмотрим хозяйство, с народом поговорим.  
– Уже поговорили, – Николай Ефимович кивнул головой на дверь, из-за которой все еще доносилось выступление аборигена.

– Актив завтра соберем? Надо же договор на соревнование обговорить, – не унимался Лишай.

– Может завтра. Соберем, – неопределенно буркнул хозяин. – Идем на колхозный двор?

Больше других мне запомнился огромный, как ангар, коровник, потому что такого огромного я прежде не видел. В предназначенном для четырехрядного содержания коров помещении стоял туман. В одном краю, на бетонном, мокром полу, без подстилки стояло десятка три мохнатых холмогорок. Грязные и мокрые, обросшие инеем, они понурились над пустыми кормушками.

– К обеду барду<sup>1</sup> привезут со спиртзавода, ждут, – равнодушно пояснил Николай Ефимович.

– Ревматизм у всех? – спросил Лишай.

Он устало кивнул головой.

– Еще чего покажешь?

– Ничего. Разве только постройки. Скотина вся пошла под нож. Еще и прикупили, чтоб вытянуть 285 центнеров. Теперь всю зиму будем коров и поросят собирать с миру по нитке.

А деньги откуда? – настырный Лишай лез с вопросами.

– Оттель, все оттель, – Николай Ефимович ткнул пальцем в небо, он не скрывал раздражения. – Колхоз закредитован по самое некуда. Еще что-нибудь хотите посмотреть?

Его колотнула дрожь, и он поднял воротник легкого пальто, сунул покрасневшие кисти рук в рукава. Из распахнутых дверей коровника тянуло сыростью, и меня тоже охватило ощущение неуютности, стало зябко.

– Может, пообедаем, уже пора.

Я думал, что мое предложение обрадует Николая Ефимовича: слава богу, не надо таскаться по разоренному хозяйству. Но он не обрадовался и не пригласил к столу. Отведя взгляд в сторону, произнес:

– Если хотите... Только у нас тут негде, придется в город ехать, я дам машину.

Гостеприимство на высшем уровне! Мы переглянулись с Лишаем, он пожал плечами и пригласил:

– Может, и вы с нами?

– Да я... В общем-то... я еще не обустроился, а то бы ко мне... Семью сюда не перевез... на птичьих правах... – Судя по всему, он был хороший человек, и ему было стыдно, что не может принять гостей по-людски.

Памятуя наш опыт общения с местным общепитом, мы не стали искушать судьбу и поднялись прямо в номер к Саше, Василий Федорович подсутился и добыл у рестораторов фирменной редьки и кислой капусты, приволок двухлитровый чайник кипятку. Нарезали сала, ветчины. Тихоня Анечка, краснея, сунула на край стола доброе кольцо домашней колбасы и литровую банку самодельной тушенки.

Через полчаса все мы уже были на «ты» и продолжали делиться опытом. Оказалось, что наш провожатый был тут человеком новым. До приезда к Андреевой возглавлял соседний колхоз – миллионер, не миллионер, но с незамутненным банковским счетом и хорошо налаженным хозяйством. Райком, чтобы покрыть грехи любимицы Хрущева, воссоединил оба кооператива под андреевским флагом, а Николая Ефимовича назначил заместителем к ней.

---

<sup>1</sup> Барда – побочный продукт переработки спирта, используется в качестве корма в животноводческих хозяйствах.

– Вот теперь бьюсь, чтобы оберечь мои бригады от передового опыта, да, небось, сломает. Не баба – танк! Помру, но не отступлю! – он грохнул кулаком по столу.

– И не сдавайся! – поддержал его Саша.

Андреева приглянулась Хрущеву, еще будучи агрономом МТС, за ее непримиримость к травопольной системе земледелия. А дальше пошло-поехало. Выполняя директивы партии, Андреева ликвидировала натуральную оплату труда колхозников, обрезала приусадебные участки, свела коров на колхозную ферму, запретила держать поросят в личных хозяйствах. И вот уже проектирует мощный животноводческий комплекс, стаскивает мелкие деревни к большим селам, готовится забрать под свою руку еще два соседних колхоза. И ни в деньгах, ни в стройматериалах, ни в удобрениях, ни в технике отказа ей нету. Бывает, спросят: «Откель это у вас гора калийной селитры?» – «А все оттель, все оттель!» И палец вверх.

– Вот и получится жаркое из рябчиков по рецепту: один конь – один рябчик! Пришьют к пуговице пальто и угробят полрайона, – подытожил Николай Ефимович.

Назавтра мы были допущены к сиятельной особе. Вернее, она снизошла к нам. Мы собрались в прежнем составе в комнате для заседаний, когда открылась дверь, и к нам сначала всплыла витриной ювелирного магазина мощная грудь, сверкающая эмалью, золотом и серебром, затем показались тугие ленки и общелкнутое тонким сукном чрево, и, наконец, державный лик еще не старой и приятной налицо женщины. Это была Сама. Следом, шурша белыми валенками и чуть сутулясь, главный бухгалтер. Отделавшись общим поклоном, она во главе стола, обозначив, кто здесь главный. Никакого равенства сторон, готовых подписать договор о социалистическом соревновании. Обратив внимание, что я достал блокнот готовясь обрушить на нее град вопросов, предупредила:

– У нас полчаса времени. Я всю ночь тряслась в поезде, надо пару часиков передохнуть, и сегодня же выехать в Москву, приглашают выступить на пленуме ЦК Союза работников сельского хозяйства. – Откинулась на спинку кресла и передохнув, произнесла короткую речь о рекордных показателях, обильно снабженную цифрами и лозунгами. Через две-три фразы благодарственные слова, адресованные «дорогому Никите Сергеевичу».

Я все-таки пытался втянуть ее в разговор, особенно интересуясь переходом на чистую денежную оплату труда и ликвидацию личных хозяйств у колхозников. Заехал из-за угла: хватает ли 400 рублей зарплаты в месяц для семьи с малым детьми, если себестоимость литра молока в колхозе 18 копеек? А ведь нужны и сметанка, и сливки, и творожок. В ответе она была предельно лаконична:

– Два литра молока в день для двоих детишек хватит.

– А если в семье четверо? Тогда зарплату надо 800 рублей.

Она задумалась на секунду, не более, и отпарировала:

– В нашем колхозе нет семей с четырьмя детьми.

Я понял, что спрашивать еще о чем-то бессмысленно, но все же съехидничал:

– А у вас и дети рождаются по плану?

Андреева досадливо звякнула орденами:

– Хватит шуток. Давайте, подпишем договор. Текст готов?

Саша Лишай спросил:

– А мы общественность не подключим? Может, собрать бы актив, обсудить...

– Я не сторонница парадности и шумихи. Текст договора Напечатаем в типографии, возьмем в рамочку и разошлем во все бригады, пусть народ знает. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к главному бухгалтеру. Он у нас для связи с общественностью. Николай Ефимович, с продуктами для обеда все в порядке?

– Привезли.

– Если еще что понадобится, бухгалтер выдаст деньги, Я распорядилась. Надо же гостей принять честь по чести, а я, извините, отбываю. Еще и от Никиты Сергеевича звонили, надо заехать. – Блеснув улыбкой и звеня наградами, она удалилась, неся тяжелый зад на отлете. Ни тебе «до свидания», ни «прощай».

– В-высоко летает, а как уп-падет? В-вот грому б-бу-дет! – Саша Лишай, волнуясь,

начинал заикаться.— Ефимыч, слышь, переезжай ко мне. А?

Колхозные бабы внесли миски и бутылки. Мы пригласили их отобедать с нами. На этом встреча с руководством и активом окончилась. Когда вышли на двор, я спросил у нашего овощевода:

— Ну как, Василий Федорович, впечатление?

Он глянул прищурившись — ты, мол, издеваешься, да? — потом зло плюнул и затейливо, от души выругался. Хотел растереть плевков ногой, но из-под сапога выкатился комок смерзшегося чернозема. Растерев его пальцами, проговорил с тоской:

— И на такой земле нищета! Мне б гектар этого чернозема, я Минск овощами б закормил, а колхозников озолотил.

На скрипучей вагонной полке не спалось. Сквозь туман, полусна виделись обросшие шерстью, понурые фигуры коров, скучившиеся в углу бетонного ангара. Мне стало зябко под тонким одеялом. Перебирая инициативы фонтанирующего идеями Никиты Сергеевича, в который раз пытался понять, что это — цепь случайностей или заранее продуманный план разорения деревни? Как ни крутил, выходило: продуманный план. Надо было *отлучить и отучить мужика от земли, убить в нем чувство хозяина*. Именно так действовал Сталин в период коллективизации, чтобы высвободить рабсилу для индустриализации. Никита Сергеевич пошел дальше. *Введя денежную оплату труда, он стремился повернуть мужика от борозды к прилавку, заставить мужика платить за продукты самому себе (!) и люмпенизировать его*. Никите Сергеевичу нужна была рабсила. Вспомнилось старое увлечение Хрущева идеей агрогородов...

Работая в «молодежи», я немало занимался миграцией сельской молодежи. Едва окончив семилетку или десятилетку девчата и ребята стремились в город. Социологи объясняли это отсутствием в деревне клубов, плохим культурным обслуживанием, неуютом жилья. Вот настроим домов культуры, закроем грязь асфальтом, возведем каменные дома, привезем артистов, и отток молодежи в город прекратится! Но, общаясь со своими читателями, я видел, что дело не в этом. Человеку, в принципе, свойственно узнать, а что там, за горизонтом? Ему становятся постылыми однообразные будни, хочется разнообразия. И еще — свободы. В деревне тронул Лельку за бочок, и пошло по деревне: Ванька к Лельке клеится, а в городе покинул свою норушку и растворился в толпе, вали хоть к Лельке, хоть к Ленке. Многолюдье, шум, огней сверканье — сказка! И бегут ворочать бетон, таскать шпалы, шабашничать... Деревня — агломерация обреченная. И Никита, вероятно, понимая неизбежность разрушения сельского уклада, торопился в будущее, ему всегда хотелось, чтобы завтрашний день стал вчерашним, а коммунизм наступил в 1980 году. Вершиной его представления о коммунистическом обществе был бесплатный проезд в троллейбусе. И рушились дома, ломались судьбы, нищала и вымирала деревня. Менять уклад бытия нужно не путем разрушения, а через созидание. Но путь созидания у него был только в уме, а на практике — ломал, крушил, гнул через колено. «Клячу истории» пришпорить нельзя, как призывал Маяковский, всему свое время.

Почти накануне выезда к «передовице» я получил от своего ЦК задание исследовать влияние денежной оплаты на производительность труда в колхозе. Поручать это какому-нибудь НИИ было бессмысленно. Во-первых, затянут, а во-вторых, попытаются узнать, какого результата ждет руководство, чтобы потом диссертацию сварганить. Я выехал в Гродно. После присоединения западных областей к Советской Белоруссии коллективизация тут проходила трудно. Забитый и затюканный польским владычеством крестьянин-белорус с радостью принял землю из рук советской власти, но, узнав, что его приглашают в колхоз, встал на дыбы. Кое-кто, прихватив обрез, скрылся в лесу, начали постреливать. Сначала председателей сельсоветов, потом фининспекторов, землемеров, партийный и комсомольский актив. Я и сам однажды, выбив окно в боковушке, куда уложили меня спать, уходил сугробами от заглянувших в деревню литовских «зеленых братьев». Они и их украинские «коллеги» активно лезли в наши разборки. Но, так или иначе,

к пятидесятым годам колхозы создали, и многие из них быстро встали на ноги. Надо сказать, что не развращенные коллективной безответственностью здешние крестьяне работали на совесть. Да и партийные органы старались дать новым колхозам хозяйственную самостоятельность, не досаждали командами когда, где и что сеять. Весть о введении денежной оплаты тут встретили с радостью – «за польским часом» злотые редко попадали в руки крестьянину, а тут ежемесячно и приличные суммы. Ради копейки готовы были носом землю рыть. Но парадокс: достигнув определенного уровня, зарплата перестала быть мобилизующей силой. Ларчик открывался просто...

На беседу к заезжему корреспонденту мужики потянулись охотно, тем более, что хозяин добыл из-под пола пару бутылок самопальной «дуроты», я вытащил из портфеля батон «городской» колбасы, и беседа, начавшаяся за столом, продолжилась на завалинке, в табачном тумане. Я не сразу задал интересующий меня вопрос, ожидая, пока развяжутся языки. Крестьянин – человек осторожный, подумает, что неспроста этот городской хлопец заводит разговор про «гроши», может, начальство пакость какую удумало... И все же они сами вывели разговор на нужную дорогу:

– А сколько тых грошей трэба? Усю жизнь горбатишь до кровавых мозолей, и все мало. А тепер глянь: газовая плита у меня в хате есть, телевизор самый новейший, мотоцикл, а если б дороги добрые, то и машину могу купить, одежду правил и себе, и жонцы, и деткам, что еще надо? Я, чем живот надрывать, лучше бутылку куплю, хлопцев позову, да тензор поглядим, языки почешем.... Чем не райская жизнь?

Потолок представлений крестьянина о богатой и красивой жизни был крайне низок. Наиболее дальновидные председатели колхозов заботились о воспитании потребностей. Умница и хитрован, вожак колхоза «Советская Белоруссия» Брестского района Володя Бядуля то выкопает пруд и разведет карпов, а на первую рыбалку пригласит хор имени Пятницкого, то устроит праздник урожая и прямо на поле доставит самолетом гору арбузов, то построит дворец культуры и откроет в нем музыкальную и балетную школу, и чтоб преподавали народные артисты, то группу за группой отправляет отдыхать на Черное море – пусть увидит каждый.

Ученый агроном и экономист Павел Павлович Шиманский вовлек буквально каждого члена колхоза в управление жизнью колхоза, создав целую систему комиссий и групп содействия, охватывающих круг производственных и бытовых забот, проблем образования и воспитания детей, внедрения культуры в домашний обиход.

Кирилл Орловский, человек-легенда. Чекист, укравший из-под носа китайской контрразведки резидента и вывезшего его в Советский Союз в тюке ваты, отважный командир в Испании, вожак специального отряда в тылу у немцев в годы Великой Отечественной, потерявший кисти обеих рук, но пренебрегший жизнью пенсионера, он решил наладить жизнь в родных Мышковичах Кировского района. Оставил семью и квартиру в Москве и, будучи почти беспомощным в быту, прикатил в разбитые Мышковичи на грузовике, который выпросил у Сталина.

– Я сделаю наш колхоз самым богатым в Белоруссии. Но запомните: каждый из вас в равном со мною ответе.

Бездельникам и вору в Мышковичах делать нечего. Если кто рассчитывает на легкую жизнь, уходите сразу.

Как уж он обходился в одиночку, знает только Бог, потому, что намотать портянки и натянуть сапоги для него было подвигом, но ровно в 6 утра начинал планерку, и попробуй опоздай – десятому закажешь. День на ногах. Успевал бывать везде, в каждом углу. Лодырю мог и в морду култышкой ткнуть. Успевал обсмотреть все и на станции побывать, выхватить, пока иные спали, вагон минеральных удобрений и не позднее, чем за сутки, завезти на колхозный двор и укутать, чтоб дождями не размыло. Соседи мчатся к начальству:

– Опять Орловский ограбил!

– А вы спите побольше.

А Орловский уже пылит на своем «ЗИСе» в Кричев добыть цемент для стройки, а



попутно заскочить на пару кирпичных заводов. В 6 утра опять на планерке, требует отчета за вчерашний день, выдает наряд на очередные работы. Стон стоял в Мышковичах – продыху не дает, а он всякую хулу мимо ушей пропускал и продолжал гнуть свое. И все видел, все знал. Заехал однажды сельский почтальон на посев льна. Орловский завел его на курган, вызвал сторожа с ружьем и двух баб с лопатами:

– Ройте яму метр на два, – и сам очертил границы. – А ты, гад, становись на край, расстреливать тебя будем за потраву колхозного добра...

Довел инсценировку до того, что почтальон уделался и махнул не домой, а в райцентр, за двадцать пять верст...

Варварство? Да. Но менее чем за полтора десятка летя колхоз стал миллионером, закрома во дворах колхозников ломались от добра. Отстроил деревню, вымостил дорогу до райцентра и деревенскую улицу, построил клуб, школу-десятилетку. Не хватило денег – снял с книжки все свои сбережения – 200 тысяч – и вложил в школу. Платил стипендии студентам, готовя резерв кадров. Не привыкшие к дисциплине колхозники стонали, проклинали «клешнятого», но из деревни никто не уходил. А когда умер, оплакивали всем миром.

– Как же мы без него теперь?..

В тяжелом труде восстановления богатства деревни выживали сильные, только личность, характер независимый и мощный мог устоять против административного нажима. не лень указывали председателю где, что, когда и где. Планирование производства велось сверху, независимо от природных условий. Сказано: сей кукурузу – будешь начальства в чести. Однажды Никита Сергеевич заехал хозяйство Шиманского, глянул серьезным оком на поле и взъярился: почему до сих пор на этом поле кукурузу не высеяли? Шиманский поднял комочек земли, размял в пальцах и ответил:

– Тут, в низинке, земля добрая, но еще не созрела, прогреется с недельку и засеем.

– Хитришь? Я осенью проверю, если тут не вырастет кукуруза – голову оторву.

Осенью – бац! – приезжает помощник Никиты, Шевченко. А Шиманский ему фотографию собственную в кукурузных зарослях – метелки выше головы.

– А ты не встал на колени? Шиманский усмехнулся:

– Я перед всяким говном на колени не становлюсь.

– Так и доложить?

– Так и доложи.

В списке передовиков на очередной слет или совещание против фамилии Шиманского появилась запись, сделанная рукой первого секретаря Брестского обкома, П. М. Машерова: «Не брать. Может сболтнуть лишнее».

Я организовал восемь статей Шиманского о развитии колхозной демократии, их обсудили на бюро ЦК и порекомендовали проработать с сельским активом республики.

Изучая опыт лучших вожakov сельского хозяйства, я пришел к выводу, что выйти на высокий уровень производства мы не сможем. Сияли яркими достижениями отдельные маяки, большинство хозяйств перебивалось своды на квас, хорошо вели дело только мужики ухватистые и расторопные, вроде Орловского или Бядули, успевавшие слизнуть пенки. Хрущев заявлял, как всегда хлестко и категорично: «Дайте мне 30 (40?) тысяч хороших председателей колхозов, и я подниму сельское хозяйство». Самонадеянная глупость! Лучшим был тот, кто мог первым добежать и урвать из кучи благ. В родном отечестве катастрофически не хватало минеральных удобрений, хорошей техники, финансов, породного скота, высокоурожайных сортов семян, стройматериалов, короче, кругом был недостаток. В тысячах колхозов работали за «палочки» в книге учета, платить за труд было нечем. Именно поэтому не ходили на работу в колхоз, предпочитая копаться на собственных грядках. Деревня нищала, крестьянин отбивался от рук, терял трудовые навыки и любовь к делу. Власть видела выход в том, чтобы прочнее оседлать командные высоты. Сверху вниз летели тысячи директив, снизу вверх липовые отчеты. Вся жизнь была погружена в атмосферу лжи. Мы в газете вели двойную игру, печатая заведомо пустые и вредные

директивы, старались сеять семена правды, публиковать полезные советы и выкорчевывать бюрократизм. Только сейчас я понял, почему журналистику уравнивали с проституцией. От моего идеализма не осталось и следа.

Между тем я окончил заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС и обрел, наконец, высшее образование. Учился шутя – запас ЦКШ оказался добротным. В курсе ВПШ помимо марксистской теории, истории, литературы было изучение основ практической экономики, агрономии, агрохимии, основ технологии металлургии, легкой и тяжелой промышленности, стройиндустрии, полагалось научиться водить трактор. Руководство Белгосуниверситета пригласило меня вести курс теории и практики советской печати.

– Но я же еще сам студент!

– Нам нужен практик, кандидатов и докторов хватает, а у зав. кафедрой журналистики Зерницкого практика секретаря районной газеты.

Я знал этого маленького беспокойного человека Марка Соломоновича, которого мои коллеги звали, конечно же, Маркс Соломонович, а теоретический уровень характеризовали известным афоризмом: корреспонденция – это не статья, а статья – не корреспонденция.

Я отважно поднялся на кафедру с единственным намерением: рассказать будущим журналистам о том, как надо работать в газете. Живого материала хватало. А постановления ЦК по вопросам печати, что составляло теорию, помнил еще из ЦКШ. Не скрою, мне было приятно, что на мои лекции сбегались ребята с других потоков. Но вскоре забеспокоился: на последних скамьях изо дня в день стал появляться Маркс Соломонович. Копают, определенно копают. Надо готовиться к отражению доноса. Но все было просто, как яйцо. Наступила сессия в Высшей партийной школе, и я сел на студенческую скамью. Каково же было мое удивление, когда на кафедру поднялся Маркс Соломонович и начал читать конспект моей университетской лекции. Более того, я и экзамен пошел сдавать ему. Разговора он не затеял, а просто сказал:

– Дайте вашу зачетку.

Я протянул ее и добавил:

– Надеюсь, четверку заслужил.

– Шесть я поставить не могу. Спасибо, молодой человек.

### **Глава 3. Рядом с властью**

Не знаю, каким путем вычислил меня первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Кирилл Трофимович Мазуров, но в один прекрасный день он пригласил меня к себе и огорошил предложением:

– Пойдете ко мне помощником?

Я растерялся и принялся молча рассматривать завитки древесины на полированной крышке стола. Выждав две-три минуты, он продолжал:

– Может, вам подумать надо, посоветоваться? – ироническая усмешка скользнула по губам и растаяла.

Я начал поправлять галстук, впопыхах одолженные у кого-то из товарищей – страсть не любил эту часть туалета мне казалось, что он сидит криво. Мазуров смотрел на меня, в глазах играла смешинка: ей-богу, он угадал мои мысли. Это приободрило меня:

– С кем посоветоваться? С товарищами по работе, с женой? Насколько я понимаю, когда предлагают такую должность, советоваться ни с кем нельзя. Есть недруги, есть друзья, мало ли что присоветуют да еще и разболтают. А думать – хоть час, хоть минуту, какая разница, мозгов не прибавится...

– Значит...

– Дайте отдышаться, поджилки трясутся. Это ж какая ответственность! А если не получится?

– Прогоню, только и всего, а как же иначе? – глаза его сверкнули озорством. – Значит, договорились?

Никак не пойму – человек серьезный, а манера говорить как бы мальчишеская, ироничная. У меня невольно вырвался тяжелый вздох. Тебе, начальник, шуточки, а мне какво? Не нужно долго ломать голову, чтобы понять, что жизнь возносит меня на большую высоту. Шутки шутит кандидат в члены Политбюро ЦК, человек с портрета. Сегодня здесь, а завтра, быть может, казенный дом и дальняя дорога... И все же ответ давать надо.

– Когда на работу выходить?

– А что не спрашиваете, какая будет работа?

– Все равно скажете, зачем время попусту тратить? Бумажная, полагаю.

Он засмеялся:

– Вот это деловой подход... День на то, чтобы очистить стол в редакции от компромата – любовных писем и всякого такого... – он нажал кнопку и вызвал первого помощника. – Виктор, Покажи Борису Владимировичу кабинет, выпиши удостоверение, введи в курс дела. Только держи ухо востро: он парень лихой, – улыбнувшись, он протянул руку.

Я вспоминаю время, проведенное возле него, как самое счастливое в моей жизни. Человек высокой культуры и разносторонней образованности, по-житейски мудрый, обладающий ровным характером и сдержанный, простой в общении и обаятельный – у него было чему поучиться. Но главное, что он дал, и к чему я стремился – дал полную свободу в выражении мыслей и слов. Я, наконец, стал свободным!

Первое задание, которое получил, меня не только озадачило, ошеломило.

– Помогите разобраться в истории с вейсманизмом и морганизмом, в чем суть расхождений между нашей наукой и западниками. Срок – два месяца. Больше ни на какие дела не отвлекайтесь. Поднимите литературу, поищите людей знающих и объективных. В зубах навязли Лысенко и всякие мичуринцы, пользующие гениального садовода в своих целях. Не бойтесь расхождений с официальной точкой зрения и не пытайтесь угадать мою позицию. Мне нужен не подхалим, а оппонент, подхалимов вон целых пять этажей – махнул он рукой в сторону двери.

– А из партии не вылетчу, если с линией разойдусь?

– Вылетим, так вместе. Устраивает?

Потом еще было задание определить, какой путь выгоднее в мелиорации – спорили два направления, и во главе обоих академики, и тот прав, и тот прав. Поручая подготовить выступление к пленуму ЦК по идеологической работе, напутствовал:

– Копни, как следует, ты же задира и принципиальный, – подковырнул он мимоходом. – Меня интересует не то, что отдел в справке напишет, а как оно в жизни получается.

Злопамятный! Редактор «Колхозной правды» Василий Илларионович Фесько был слаб насчет спиртного, а, выпив, начинал буянить в редакции. Однажды, напившись, принялся гоняться за женщинами из корректорской, да опутал, попал в чужую газету. Те «стукнули». Я, будучи секретарем партбюро «Колхозки», был вызван вместе с ним на бюро ЦК. И когда спросили мое мнение, я сказал:

– Попивает, конечно. Мы ему за этот случай «строгача» явили. Но редактор он хороший, умный.

Мазуров, не скрывая иронии, процитировал меня:

– Ишь ты, вывел: «Редактор он хороший...» Пьяница, и не оправдывайте его.

– Кирилл Трофимович, у коллектива к нему претензий, как к редактору, нет. Редактор он хороший.

– Вот вкатим вам выговор за беспринципность...

– Беспринципно солгать на бюро ЦК. У меня спросили мнение, я ответил то, что думаю.

– Может, и обо мне имеете мнение?

– Конечно.

Он неожиданно улыбнулся:

– Вот задира! Гляди, не сносишь головы.

И, работая помощником, я нередко вступал в спор. Однажды прикрепленный к шефу чекист, Сергей Штынкин, сказал мне:

– Борис, ты с ума сошел! Как разговариваешь с кандидатом в члены Политбюро?

– Серега, отвечать: «Слушаюсь!» – это ваша работа. А моя – уберечь шефа от ошибок.

Итак, я занялся изучением пропагандистской работы.! Справку, представленную отделом, сунул в стол и пошел «в народ» от школьников до академиков. Наблюдения и выводы собрал на 18 страницах, где главный упрек обратил к формализму. Между прочими мыслями была главная: партийные пропагандисты все время зовут к бою, к труду и нимало не заботятся о духовном развитии человека, что весьма ловко используют церковники. Мы вывесим лозунг! «Печать – самое острое оружие партии» и считаем, что внушили важную мысль. А какое дело обывателю до идейного «вооружения», если он за разоружение? Его волнует, что негде починить ботинки, что в семье нелады, что мастер на заводе занимается поборами. Кто об этом должен подумать?

Прочитав справку, Кирилл Трофимович улыбнулся:

– Насчет души, вы стопроцентно правы, но нас не поймут, если выйдем с этим тезисом. Партии требуются железные бойцы за коммунизм, скажут, а Павленок с Мазуровым затеяли поповскую проповедь. Не пришло время для бластных речей. А остальное годится.

Я в тот раз ушел из кабинета расстроенный. И зря. Тезис насчет души он все-таки сумел ввернуть в текст, а заботу о нормальном самочувствии каждого человека поставил, как главную в работе партии.

Зимой мы поехали на совещание передовиков сельского хозяйства в Киев целой компанией. В Гомеле к нам должны были подсесть первые секретари обкомов Гомельского – Иван Евтеевич Поляков и Брестского – Алексей Алексеевич Смирнов. К вагону подошли мои родители. Я не баловал их приездами на родину, и потому каждая минута, хоть бы и случайного, свидания для нас была радостью. 20 минут технической стоянки поезда мы так и провели, обнявшись, обмениваясь ничего не значащими и так много значившими словами. Свисток паровоза. Я поднялся в вагон и прильнул к окну. Мои милые старики так и стояли, прижавшись друг к другу, на том месте, где я их оставил. Одинокие, будто брошенные, в тусклом свете станционных фонарей, они неотрывно смотрели в окно вагона. Холодный ветер гнал поземку, откидывая полу черной шинели отца. Милые мои, взял бы вас с собой, кабы моя воля, взял и не отпустил от себя ни на миг. Мне так вас не хватает! Поезд тронулся, а я не отходил от окна.

– Тяжело оставлять, да? – сочувственно сказал Кирилл Трофимович и слегка пожал мне плечо.

И это было дороже тысячи слов. Я понял, что буду привязан к этому человеку всю жизнь.

В Киеве, ступив на перрон, я взял свой чемоданишко и попробовал ухватить неподъемный чемодан «хозяина», Думая, что так положено. Но он остановил мой порыв:

– Это не ваше дело, да и не умеете услужать...

В громадном особняке, где разместили наше руководство, ко мне подскочила местная обслуга:

– Что любит ваш хозяин, как составим меню?

Мне хотелось сказать: а что-нибудь полегче спросить не можете? Раньше на подобные вопросы отвечал прикрепленный чекист, обязанный знать привычки и пристрастия «хозяина». Но теперь его не было: Никита отменил охрану кандидатов в члены Политбюро. Я изобразил бывалого:

– А вы как думаете? Конечно добрый украинский борщ с пампушками, такой, чтоб ложка стояла, кусок отбивной, чтоб глазам стыдно, а душе радостно, варенички и то-се, что положено... – Откуда мне было знать, что Янина Станиславовна, супруга Кирилла Трофимовича, держала его на всем протертом и диетическом?

Когда перед ужином заглянул в столовую, у меня помутилось в глазах. Стол был раскинут персон на двадцать. Посередине от края до края сплошной лентой стояли бутылки всех размеров, форм и расцветок засургучеванные и сверкающие серебром и золотом. А вокруг закуски, сплоченные так, что и палец меж ними не вставишь. Сверкающий хрусталь, крахмальные салфетки, горы фруктов, кроваво-красные ломти арбузов. Не удивительно, что, глянув на такое великолепие, Иван Евтеевич Поляков, не теряя времени, внес предложение:

– Ты, Кирилл Трофимович не пьешь, а вот помощник твой, думаю, может выручить земляка.

Кирилл указал на меня:

– Этот? Этот может.

– Ну, а ты, хоть капельку...

– Разве что коньяка пять граммов, – а рука уже потянулась к запретному плоду – исходящему соком куску буженины.

После ужина решили прогуляться. Была тиха украинская ночь, и роняла она неторопливо снежные хлопья. Тишь такая, что слышно шуршание снежинок. Вышли на Владимирскую горку, и тут хорошо поевшим хлопцам захотелось поиграть в снежки. Пошла веселая кутерьма, которая окончилась тем, что все трое, свалившись в кучу-малу покатались вниз. А я, подобно клуше, обороняющей цыплят, метался вокруг: не дай Бог, вывернется милиционер и задержит кандидата в члены Политбюро ЦК и двух первых секретарей обкома. Приведут в отделение, а документов ни у одного нету, надев спортивные костюмы, все оставили в особняке. Удостоверение есть только у меня, придется пойти в залог самому. Перепачканные в снегу, лохматые, веселые, шли обратно и орали – ни дать, ни взять мальчишки. В кои-то веки вырвались на свободу. А завтра опять парадные костюмы, галстуки, настороженность и аккуратность – не дай бог лишнее во с языка сорвется, может жизни стоить.

В том году мы залили на Центральной площади Минска каток. Народ валом повалил на него, да и Кирилл Трофимович, если выдавался свободный вечер, любил побегать на «хоккеях». Благо от катка до здания ЦК было метров триста, переодеться можно было в кабинете.

Бывали радости и иного толка. Однажды, сам того не желая, Кирилл Трофимович крупно подставил Никиту. Готовились к очередному совещанию передовиков сельского хозяйства Белоруссии и Прибалтики. Я получил задание готовить выступление. Кирилл Трофимович напутствовал:

– Пора нам из подполья выходить. Понимаю, что умолчать про кукурузу нельзя. Но особо не распинаясь, поищи пару рекордсменов, похвали, мол, и в Белоруссии есть маяки, и надо, чтобы им подражали. Но пора восстанавливать в правах картошку, без нее животноводство не поднять. Ни нам, ни остальным прибалтам. В общем, аккуратненько, чтобы не подставиться и нужное слово сказать.

И надо такому случиться – перед самым выходом на трибуну, Никита Сергеевич обнаружил, что тезисы доклада куда-то подевались. А уже объявили, и зал аплодировал. Растерянно похлопав перед собой по столу, обратился к Мазурову:

– Готовился выступать?

– А как же...

– Дай твои тезисы, – схватив бумаги, бодро вышел на трибуну.

Читать незнакомый текст не так-то просто, и поначалу Никита заикался, но, войдя в раж, особенно, когда дошел до кукурузных дел, вышел на обычную высоту и даже оторвавшись от бумаги, бросил реплику Мазурову:

– Я же говорил тебе, а ты сопротивлялся!

– Делаем выводы из критики, Никита Сергеевич.

На волне обретенного подъема он и закончил речь. Участники совещания переглядывались: с чего это вождь стал агитировать за картошку и даже советы по

агротехнике дает – сорок тонн навоза на гектар, сеять, как и кукурузу, квадратно-гнездовым способом, убирать комбайнами... Может быть, и дал бы втык Мазурову, опомнившись, но министр сельского хозяйства Литвы главный упор в речи сделал на травы, традиционный резерв молока. Этого Никита не мог стерпеть и в грубой форме принялся разносить упрямого литовца, стоявшего на своем.

Не мною придумано: жизнь подобна зебре – полоса белая, полоса черная. Причем полоса черная наступает, когда ее совсем не ждешь. Мы приехали на пленум ЦК. Остановились, как всегда в 519 номере гостиницы «Москва». Наискосок от нас, в 514 номере, секретарь Свердловского обкома партии Кириленко. Мужья ушли в Кремль, жены собрались в 514 номере, гоняли чай. Я, не имея права отлучаться, дежурил у телефона – мало ли что могло понадобиться хозяину. Звонок раздался, как всегда, неожиданно. Прикрепленный чекист Сергей Штынкин сообщил:

– Кириллу Трофимовичу стало плохо, и его прямо из президиума увезли в Центральную клиническую больницу на Грановского. Передай Сурганову, что завтра будет выступать он. Сообщи Янине Станиславовне. Кстати, Кириленко только что вывели из кандидатов в члены Политбюро.

Не успели мы закончить разговор, в коридоре послышался решительный стук шагов. Приоткрыв дверь, я выглянул. В 514 номер стучали прикрепленный чекист Кириленко и шофер «чайки», приданной Кириленко на дни работы Пленума. Служба охраны МГБ, «девятка», работала четко: едва под сводами кремлевского зала угасли звука голоса об отставке, они покидали посты и уже не отвечая за безопасность «хозяина». У меня же была задача передать второму секретарю ЦК КП Белоруссии Сурганову поручение Мазурова и быть готовым переделать выступление. Я застал его в ресторане гостиницы, где они обедали вместе с председателем Совета министров БССР Тихоном Яковлевичем Киселевым. Дождавшись, пока Сурганов дожует котлету, я подошел и негромко сказал:

– Федор Анисимович, Мазурова забрали в больницу, он передал, что вам завтра выступать на Пленуме.

Сурганов дернулся, будто его ударило током, резко отодвинул тарелку и сказал голосом капризного ребенка:

– Не буду!

Я минуту постоял, ожидая, пока он переварит котлету и новость, потом сообщил:

– Я в 519 номере, текст выступления у меня, жду указания.

Вечером все члены бюро, прибывшие на Пленум, собрались в номере у Сурганова. Как и вчера вечером, прочитали текст. Но вчера хвалили, а сегодня принялись критиковать – кот из дома, мыши на стол. Принципиальные ребята. Притыцкий кипятился, Киселев острил, Шауро вставлял отдельные замечания, Сурганов вертелся, пытаясь хоть что-нибудь запомнить. Я, устроившись за столом, все записывал. Когда пар вышел, я пробежал глазами заметки, сделанные наспех, – ничего существенного. Позвонил постоянному представителю республики в Москве, Александру Васильевичу Горячкину, попросил обеспечить машинку, работы будет на полночи. Сурганов взялся править сам, но, увидев, что у него трясутся руки, я предложил:

– Федор Анисимович, вы диктуйте, а я буду править...

Но когда поменялись местами, толку из него все равно не было. Испуг перед выходом на трибуну парализовал – Никита мог сбить с мысли вопросами, затюкать репликами, а то и просто сказать: какой вы секретарь ЦК... И суши сухари, готовься переходить на другую работу. Итак, Сурганов расхаживал по номеру в тренировочном костюме и бросал Дносложные реплики, а я делал вид, что вношу их в текст. а самом деле, смягчал отдельные места, ибо то, что положено кандидату в члены Политбюро, не годится для рядового секретаря ЦК республики.

Назавтра я вновь отловил Сурганова за обедом. Едва завидев меня, он заулыбался:

– Выступил! Все в порядке.

Внешняя сдержанность дорого стоила Мазурову: врачи определили нервное истощение и уложили его надолго. Хуже нет остаться без руководства – и на работу ходить надо, и делать нечего. Другие секретари пытались прибрать меня к рукам, но я не дался, а вместо этого сочинил книжку рассказов и отнес в издательство. К печати приняли. Стал прорабатывать кое-какие проблемы впрок, но все валилось из рук: приближались выборы в Верховный Совет СССР, а избирательная комиссия молчала. А уже начались выступления членов Политбюро с программными заявлениями в печати и сообщения о выдвижении их кандидатами в депутаты. Страшно подумать, если в положенный срок наш не встретится с избирателями, и «Правда» не опубликует его выступление, то... Видимо хитрован Никита не захотел ссориться с «партизанами» и решил провалить выборы Мазурова, как бы по недоразумению, но на чужой роток не накинешь платок: не уважает белорусский народ своего секретаря. И оргвыводы. Местные начальники и коллеги молчали, будто в рот воды набравши. Чекисты докладывали, что по республике пошло волнение: что с Мазуровым, его не видно и не слышно. Значит, правду бают, что с Никитой у него нелады... Мы с первым помощником Виктором Яковлевичем Крюковым решили не ждать развития событий. Виктор, человек-вулкан, развил бешеную деятельность. Полетели указания о создании избирательной комиссии, подбору доверенных лиц, назначили дату встречи кандидата с избирателями. Я подготовил предвыборную речь, сделал изложение для печати, пригласил корреспондента «Правды» Ивана Новикова и передал ему. Оставалось малое: привезти Мазурова в Минск и представить его избирателям на трибуне. Он поначалу заупряился, но потом сдался, и его на сутки буквально украли из ЦКБ. Прямо из салон-вагона привезли в клуб имени Дзержинского за сцену. Народу в зале битком. Мы с Виктором отсеки его от всех желающих пообщаться, и вдруг я вижу, что лицо его посуровело и он, круто сменив тему разговора, напустился на нас:

– Что это вы за столпотворение устроили? Народу пол-Минска нагнали, телекамер наставили, журналистов толпа... Почему со мной не согласовали? Самоуправничаєте?

– Я – мы... – забормотал Виктор, – думали...

Тут я все понял. Из-за спины Виктора выдвинулось багровое лицо начальника особого отдела ЦК КПСС товарища Малина.

– Здравствуйте, Кирилл Трофимович... Я тут мимоходом... Думаю, дай заскочу... Да вот, сугробы, заносы... припозднился немного. – Похоже, он был растерян не меньше нашего. Откуда мимоходом заскочил, уточнять не стал, а припозднился, похоже, на сутки, и Мазурова упустил, и собрание допустил.

А Кирилл Трофимович продолжал бушевать.

– Телекамеры убрать! Что за чествование устроили, будто вождю какому! Партизанщину развели! Меня нет, так что, нельзя было с Москвой посоветоваться и провести все тихо, скромно. – Он знал, в чьи уши попадет информация, и старался вовсю. Никита, конечно, не забыл и белорусский бунт при назначении Зимянина и непокорство Мазурова.

– Не додумали, Кирилл Трофимович, ну я завтра кое-кого взгрею!.. А телекамеры разрешите оставить только на ваше выступление и доверенных лиц... Надо народ в республике успокоить, а то пошли всякие домыслы...

– Никаких лиц, а то ведь я знаю, начнут величать да возвеличивать...

Назавтра в «Правде» появился отчет о встрече с избирателями и статья Мазурова. Все стало на свои места. А больной прибыл в ЦКБ к завтраку, вроде и не уезжал. Блок коммунистов и беспартийных сработал на выборах, лучше не придумать.

Я уже совсем свыкся со своим положением, но за два дня до Нового 1964 года Мазуров пригласил меня и сказал:

– Вы мне надоели.

Чувствуя какой-то подвох, я смиренно пожал плечами:

– Надоел, так надоел. Спасибо за высокую оценку моих скромных усилий. Когда

сдавать дела и кому?

Он улыбнулся и протянул мне пачку красивых кремлевских открыток:

– Поздравьте своих домашних, пошлите знакомым. – Он встал, прошелся по кабинету, остановился возле меня, – Мне стыдно держать вас на подхвате. Вы независимо мыслите и вполне созрели для самостоятельной работы. 2 января 1964 года принимайте пост главного редактора «Советской Белоруссии». С Новым годом вас. – Приобняв меня, крепко пожал руку. – Спасибо за работу и верность.

Сбылась мечта – я достиг солидного положения в журналистике, возглавил наиболее популярную и крупнейшую в республике газету. Справедливость и популярность – вот две задачи, которые я поставил перед собой и коллективом. Хотя двойная жизнь продолжалась, мы печатали нелепые директивы партии по всем вопросам – о том, какой гвоздь вбивать в какую стенку, и какого числа и месяца сеять гречиху. Целые номера отводили под бесконечные речи нашего дорогого Никиты Сергеевича. В общем-то, когда их не было, скучали. Забытые речами полосы давали экономию гонорара, и мы тогда могли заплатить больший гонорар и нештатным авторам и сотрудникам. Занятый рутинной работой, я как-то не замечал, на какую высоту взобрался.

Однажды раздался звонок от Мазурова:

– Я слышал, что в Минск приезжает Шостакович с первым исполнением 13-й симфонии. Вы не думаете, что такое крупное событие в культурной жизни республики стоит отметить?

– Есть информация, но я заказал серьезную статью музыковеду.

– Правильно.

И когда статья была опубликована, он снова позвонил. Признаюсь, не без трепета душевного поднял я трубку и услышал:

– Молодцы. Дельная статья.

Вскоре позвонил заведомо пропаганды и агитации Николай Капич. Он начал с высокой ноты:

– Борис, ты соображаешь, что делаешь? Глянул на чет-ТУю полосу сегодняшней газеты и обомлел... На кого замахнулись?

Не желая, чтобы риторический вопрос обратился в конкретный, а Капич попал в дурацкое положение, я ответил:

– Только что звонил Кирилл Трофимович и похвалил за статью о Шостаковиче... Ты тоже о ней?

Капич замялся и от растерянности забыл, о чем только что завел речь:

– Да нет... А разве есть такая статья? Где говоришь, на четвертой полосе? Интересно, интересно.

– А ты о чем?

Но Капич, поняв оплошку, уже отключился. Сразу же объявился министр культуры Григорий Киселев. Он панически крикнул:

– Что вы наделали? Да ведь теперь Фурцева...

Я не дал ему погрязнуть в позоре:

– Мазуров только что звонил, благодарил за статью о Шостаковиче. Ты о ней?

– Я. Да... Нет... А в каком номере?

– Думаю, в том, который ты держишь в руках. А, Гриша?

В трубке раздалась гудка.

О том, что статья «дельная», я узнал также из присланного мне перевода отзыва «Нью-Йорк геральд трибьюн». Видная американская газета не обошла вниманием нашу скромную газету, обвинив ее в антисемитизме, хотя статья не затрагивала еврейского вопроса. Тактичная музыковедша прошла по краю пропасти. Сделав уважительный разбор и отдав дань восхищения гениальному творению композитора, она с сожалением отметила, что



текст стихов Евтушенко адресует мировую трагедию к конкретному событию – расстрелу немцами еврейского населения Киева в Бабьем Яру, где погибло 25 тысяч населения. Но ведь рядом Бело-руссия, которая от рук немцев потеряла 2 миллиона 200 тысяч мирных граждан, в том числе 300 тысяч евреев. А Польша? А Югославия?.. Каждому Гитлер назначил свой «холокост».

Впервые в рубрике «По следам наших выступлений» наша газета отвечала американской, обвинив ее в недобросовестном рецензировании. А потом случилось так, что автор американской статьи прибыл в Минск в составе корреспондентского корпуса, аккредитованного в Москве. Бойкого на бумаге, но беспомощного в устной полемике, молодого и толстого, рыжего детину, я подставил под град насмешек изрядно выпивших гостей.

Газета набирала обороты и популярность, начальство было довольно, казалось бы, жить да радоваться. Но судьба подготовила мне очередной удар.

Вместе с Василием Филимоновичем Шауро, секретарем ЦК по пропаганде, мы ехали с репетиции первого белорусского «Огонька» – было такое зрелище на телевидении.

– Вы на бюро ЦК, Василий Филимонович? Прихватите с собой?

– Езжайте лучше в газету. На бюро только кадровые вопросы, вам не интересно.

На том и порешили. Я как раз кончил читать сверстанный номер, когда раздался звонок правительственного телефона. Кому это не спится? Не спалось Шауре, видно, совесть замучила, потому что он сообщил:

– Вас только что утвердили председателем Государственного комитета кинематографии БССР. Поздравляю, товарищ министр. В понедельник сдавайте дела в газете и принимайте министерство.

Это было почище грома среди ясного неба. Я только и сообразил спросить:

– Как же так, даже мнения моего не спросили?

– Я ответил, что вы не очень хотите переходить. Правильно? – и засмеялся своим суховатым смешком.

Так я стал министром. Жизнь опять совершила зигзаг.

## **Жизнь вторая. Кино**

### **Глава 1. Поиски двадцать пятого кадра**

За полгода редакторской службы я не успел обрасти личным архивом, и потому на ликвидацию дел хватило двух дней. На новую работу пришел пешком, благо это было в двух кварталах от моего дома. Я и внимания не обращал на неказистое двухэтажное строение бледно-желтого цвета, вывеска которого возвещала, что здесь находится главное управление кинофикации и кинопроката Министерства культуры БССР. Никого ни о чем не спрашивая, вошел в полутемный коридор, поднялся на второй этаж. По двери, обитой черным дерматином, догадался, что тут находится начальство и смело распахнул ее. Девушка, читавшая книгу за чистым от бумаг столом, подняла голову.

– Вы к кому?

– К Петру Борисовичу Жуковскому.

– По какому вопросу?

Я понял, что празднующихся Петр Борисович не принимает, а суровая девушка не ко всякому посетителю благоволит. Давай-ка, думаю, подыграю ей.

– Я по поводу работы.

– На первый этаж.

– Но мне надо к Жуковскому.

– Там и определяют, надо ли вам к Жуковскому, – поправив очки, строгая девица снова уткнула нос в книгу.

– Я хочу на прием именно к нему, – и уселся на обитом дерматином стуле плотнее.

В это время отворилась дверь кабинета, и Жуковский, в черном плаще и скучного серого цвета шляпе, вышел в приемную.

– Галя, я... – Он осекся и бросился ко мне, протянув руку. – Борис Владимирович, что вы тут...

– Знакомлюсь с кадрами.

Галя, как подколотая шилом, вскочила и застыла, растерянно разинув рот.

Я не первый год знал Жуковского, но ни разу не видел на его замкнутом лице улыбки, а тут уголки губ поползли в стороны.

– Ты что же, Галя, так строго министра принимаешь?

Чувствуя, что сию минуту может получиться суровый разнос – и по моей вине – я взял Жуковского за рукав. Галя застыла, как жена Лота.

– Ты куда-то собрался, Петр Борисович? Придется отложить. – И приказал Гале: – Всех, кто есть на работе, пригласите в кабинет. Будем представлять министра. На долго не задержу. – Перепуганная Галя пулей выскочила за дверь. – А ты, Петр Борисович, позвони в гараж Совмина, пусть пришлют к 12-и часам автомобиль – поеду на студию. Кстати, предупреди Дорского, чтобы не удрал куда-нибудь. Где можно пальто бросить? Пошли на вокзал за билетом для меня, в Москву, «СВ», нижнее место. А теперь садись, рассказывай, как дела. Думаю, что к ответу готов?

По коридорам за стенами слышались вскрики, смешки, торопливые шаги.

От Жуковского поехал через весь Минск на киностудию художественных фильмов, потом на документальную, которая занимала в самом центре города старый костел.

Так за один день я посетил три своих главных предприятия, вечером предстояло выезжать в Москву, представляться в Госкино СССР и, поскольку я был «контрольно-учетная номенклатура», в ЦК КПСС. Положение дел в отрасли было ясно. Познакомившись с балансом кинофикации и кинопроката убедился, что с кинообслуживанием в республике дела обстояли неплохо. Жуковский, кадровый партийный работник, судя по всему, был в деле крепок и надежен, планы по сбору средств выполнялись исправно, репертуар был разнообразен, контора по прокату фильмов умело маневрировала кинофондом и исправно обновляла его. Существенное внимание уделялось работе с детьми. Чувствовалось, что суховатый и требовательный Жуковский спуска никому не давал. Работники аппарата бегали, как артиллеристы в период танковой атаки, нужные сведения и документы возникали на столе, будто по мановению волшебной палочки.

А кинопроизводство было в провале. Счета и художественной, и документальной студий были арестованы прочно и надолго, как я понял, «без права переписки», что в достославном 37-м означало: приговорен к расстрелу. Ни одна из шести запущенных в производство полнометражных картин, не сдала в банк декадных отчетов о снятом полезном метраже. Причины не имели значения – заболел актер, сгорела декорация, произошло крушение поезда, покинуло гения вдохновение – ты, режиссер, обязан отснять положенное количество метров, обозначенных в сценарии. Не снял и не отчитался за декаду, намеченных хоть пять, хоть сто метров того, что должно войти в фильм, банк прекращает финансирование. Долг, естественно, накапливается, а киностудии выдают только «неотложку» – крохи, которых хватает, чтобы капала штатному персоналу зарплата и горели лампочки в туалетах. В документальном кинематографе такая же ситуация.

Москва утешила. Когда я приехал на беседу в ЦК КПСС к милейшей женщине Надежде Ореховой, она предложила мне прекратить производство семи фильмов из... шести! Седьмым был находящийся в подготовительном периоде Фильм «Москва – Генуя».

– По нашему мнению, сценарий плох, – категорично заявила товарищ Орехова.

Пререкался я не стал. Вытащив из кармана командировочное удостоверение и пропуск на вход в здание, сказал:

– Если вопрос поставлен так, то отметьте командировку и пропуск, вернусь в Минск, обратно в газету. Войти в историю как человек, похоронивший белорусский кинематограф,

не хочу.

– Но у вас нет иного выхода.

– Безвыходных положений не бывает.

На том и расстались. Позиция Председателя Госкино СССР Алексея Владимировича Романова мало чем отличалась от позиции Ореховой. Подозреваю даже, что инструктор ЦК высказала не свою точку зрения, да на это она и права не имела, инструктор мог сказать: «Мы считаем», а наиболее амбициозные товарищи заявляли: «ЦК считает». Романов занимал более чем непонятную позицию – будучи председателем Госкино, он одновременно являлся заместителем заведующего отделом литературы и искусства ЦК КПСС. Полагаю, что именно он помогал Ореховой выработать точку зрения. Будучи до обеда министром, он имел право на «я», а переехав, откушавши, на Старую площадь и становясь замзавом, превращался в «мы». Я встретился с ним на Малом Гнездниковском переулке, дом 7а, до обеда, и мы повели разговор по-новой, как будто вчерашнего randevu на Старой площади не было. Говорили, как коллега с коллегой, тем более что в не столь отдаленном прошлом он работал редактором «Советской Белоруссии». До встречи с ним я побывал в главном управлении художественной кинематографии и выяснил, что положение не так безнадежно. Ребята там были неплохие и профессионально грамотные. Все оказалось просто: мне надо было раздобыть на время 300 тысяч рублей и внести в сценарий каждого фильма дополнительные сцены, покрывающие перерасход. Главное, чтобы на бумаге все выглядело убедительно.

К Минске я начал с визита к председателю Совета министров республики Тихону Яковлевичу Киселеву и взял быка за рога.

– В моем положении, Тихон Яковлевич, единственный выход: достать пистолет и застрелиться. По крайней мере, именно так поступали дворяне – банкроты. Но я пролетарий и мне надо выжить и вытащить студию. Дайте временную финансовую помощь, 300 тысяч рублей. К концу года верну.

Чем мне нравился Тихон Яковлевич, так это неиссякаемым чувством юмора.

– Значит, ты хочешь, чтобы я застрелился, потому что оказать временную финансовую помощь хозяйственному предприятию не имею права. Я тоже не из дворян, а из сельской интеллигенции. Как же получилось, что студию загнали в долговую яму?

– Ну, это проще простого, – и я поведал о горестной судьбе «Беларусьфильма».

Разговаривали два часа. Потом он вызвал заместителя министра финансов Хрещановича и, обрисовав в двух словах ситуацию и не вдаваясь в детали, приказал:

– Дай Павленку займы триста тысяч рублей сроком на полгода.

– Знаем эти полгода, потом еще полгода... Пусть в банке берет кредит.

– Не ищи дурней себя – ты бы дал кредит в данной ситуации?

Хрещанович не стал утруждать себя ответом на вопрос, ограничившись категорическим заявлением:

– По закону оказать временную помощь не могу. А вы бы...

Лицо Киселева потемнело, но голос оставался ровным, слишком ровным:

– Ты думаешь, что лучше меня знаешь законы? Да, я могу выделить из резервного фонда деньги, но я не хочу, понимаешь, не хочу делать подарка в триста тысяч бездельникам на студии! Я хочу дать на время и получить обратно...

– Но, по закону... – Хрещанович был по-мужицки упрям, будто у него отбирали кровные денежки.

Тихон сорвался. Он запустил такого матерка, что и в десанте не всегда можно было услышать:

– ...убирайся к черту! Уговаривать тебя! На кой вы мне такие помощники! Вывернись наизнанку, а чтоб завтра были триста тысяч, и не подарок, а займы! И пусть попробует не вернуть!

Хрещанович, пронзив меня взглядом, на цыпочках вышел из кабинета.

Мне думалось, добыв деньги, я сотворил самое главное, но куда сложнее оказалось их

реализовать. Я не очень представлял, в какое м-м-м, нет не скажу, в какое дерьмо я влез.

Что такое кино? Это, когда одному, не совсем нормальному человеку пришла в голову сумасшедшая идея, и он написал сценарий. Вокруг него соберется группа единомышленников, и каждый внесет свою сумасшедшинку. Потом они идут к директору студии и просят миллион или полмиллиона – сколько кому заблагорассудится – на реализацию этой идеи. Кучка ненормальных умников решает: ставить фильм или нет. Другие, не более нормальные, начинают обсчитывать, сколько будут стоить съемки каждого кадра, эпизода, сцены, техническая обработка материала... Почему я все время кручусь вокруг слов «нормальные – ненормальные»? Потому что ни один, находящийся в здравом уме промышленник, не станет сочинять смету и организовывать индустриальное предприятие, основанное на вольной игре ума. Шаблонов, подходящих для всех проектов, нет. Каждый раз это новое экономическое, организационное и кадровое решение. Есть ряд постоянных привходящих факторов, как-то: пьет или не пьет режиссер, какое у него настроение в день съемки, подготовлена ли сложнейшая аппаратура, каково настроение актера, будут ли нужные ветер или дождь, не опоздает ли поезд, везущий героиню не случится ли наводнение и т.д. и т.п. А банк каждые десять дней требует «декадку», то есть отчет о соответствии записанного в сценарии метража фактически отснятому. Если директор картины человек честный, то фильм никогда не может быть снят. Во главе съемочной группы нужен не то, чтобы крупный аферист, но хотя бы такой, который отчитывается перед банком, утаивая часть снятого метража для покрытия возможных неудач в будущем, умеющий подкупить персонал гостиницы, собрать массовку, в зарплате которой можно спрятать деньги, нужную для повседневной потребности и т.д. В то время, когда я встал к рулю белорусского кино, слава богу, еще не было понятия «откат», воровали умеренно, а взяткой считалась шоколадка секретарше, как основному источнику информации и сплетен, пятерка администратору гостиницы за бронирование номера или сотруднику ГАИ, чтобы перекрыл на время движение. Если требовался генерал или лицо, равное по весу, приглашали его консультантом, но путем официальным, а не воровским. Чтобы свести все компоненты воедино, требовалось чудо. И оно почему-то происходило. В конце концов, все снималось, слаживалось, сходилось и склеивалось, и вот они заветные 2200–2700 метров пленки (дозволенная длина картины) с изображением и звуком, короче, фильм, отдаленно напоминающий сценарий, всеми читанный и утвержденный.

Затем наступала последняя и самая трудная стадия: надо всучить фильм начальству и доказать, что это самое гениальное творение на свете. У начальства бывает свое мнение. У более высокого начальства совсем иное. Иногда в процесс втягивалось самое-самое большое начальство, которое смотрело кино на дачах. А у него бывают жены, дети, тещи, и у каждого свой взгляд на киноискусство. Начиналось перетягивание каната. Чаще всего побеждали создатели картины, порой с некоторыми потерями, порой без оных. Но случались и катастрофы – фильм шел «на полку». Иногда на время, а то и навсегда...

Когда мои друзья узнали, какой крест возложила на меня судьба, они испуганно восклицали:

– Ты с ума сошел! Куда ты лезешь? Это же такое сложное дело, что освоить его только под силу изворотливому еврею! В этой среде надо вырасти... Там, брат, такая кормушка, как пить дать, в тюрьму угодишь!

Вопреки предсказаниям друзей, я довольно быстро разобрался во всех хитросплетениях кинематографического процесса и понял, что легенды о непознаваемости кинодела распускаются самими киношниками, любителями напустить вокруг себя туману. Темные очки, лохматые головы, огромные кепки, кричащие одежды, трубки в зубах, заморские ботинки – инопланетяне. К ним и подобраться страшно. Контролеры всех мастей норовили обойти непонятное кино стороной, а уж если встречали, творили с перепугу необъяснимые глупости. Однажды на главного бухгалтера картины «Лявониha на орбите» надел народный контроль, требуя объяснить, почему не задокументирован расход в три рубля. Он объяснял,

что в сцене была занята собачка, и ее пришлось по требованию хозяйки кормить непременно супом, а его тарелка в сельской харчевне стоили 30 копеек.  $30 \times 10 = 300$  копеек, то есть 3 рубля.

– Не втирайте нам очки! Режиссер, небось, сам съел, а на собачку сваливает. Мы запросили поликлинику и имеем справку, что у режиссера колит, вот куда улетели государственные денежки...

А мы с главным бухгалтером Госкино в это время пытались докопаться, куда исчезли из массовки 80 человек, приглашенных на свадьбу, ибо не смогли в кадре свадьбы насчитать более 10 гостей, снятых в разных костюмах и гриме, притом снятых с четырех разных точек. Попробуй, сочти, когда бешеная пляска снята крупным планом. Явно украли расход на «мертвые души».

Это не выдумка, а правда. Сколько глупостей и хитростей еще предстояло мне увидеть в ближайшие двадцать лет! Собачка была первой.

«Беларусьфильм» возглавлял тогда Иосиф Львович Дорский. Пыхтящая, потеющая и громогласная туша, мастер разноса, был он человеком добрейшим и бесконечно преданным делу. До этого работал в Витебске директором БДТ-2 – белорусского государственного драматического театра, второго по значению в республике и не последнего среди театров Союза, неоднократно и успешно выступавшего в Москве. Зачем ему было принимать «Беларусьфильм» и жить на два дома – понятия не имею. Он знал и любил актеров и режиссеров кинематографа, и его знали и любили. В Минск сниматься ехали охотно. Более того, ему удалось собрать 6 молодых режиссеров – выпускников ВГИКа и пригласить на работу в столицу Белоруссии вместе с интеллигентнейшим и мудрым их учителем Сергеем Константиновичем Скворцовым. Но был у Иосифа один недостаток – он не умел наладить производство. Когда я приходил на студию, мне казалось, что я попал в кутерьму местечкового кагала. По коридорам бегали люди, все говорили или кричали разом, что-то куда-то несли то туда, то обратно, и в центре людского водоворота временами возникала внушительная фигура Иосифа. Он тоже суетился, бегал, кричал, давал указания. Естественно, в сумятице и бестолковщине неминуемо завязывались какие-то петли, образовывалась путаница, и тогда, будто посланник божий, Иосиф, круша налево и направо, принимался разрубать узлы. Он сзывал всех в кабинет и устраивал разнос. В кабинете над директорским столом высилось пять седых голов, словно кочаны капусты на грядке. Это были консультанты, которых Дорский пригласил из Москвы. Каждый из них получал слово, и почти каждый предварял речь вступлением:

– Извините, я буду говорить сидя, что-то сегодня ноги не держат.

И каждый читал лекцию о том, что лошади кушают овес, а Волга впадает в Каспийское море. Может быть, когда-то они и были хорошими директорами, но сегодня потенциал их равнялся нулю. Потом опять был сольный номер Иосифа. Выкричавшись, он отпускал людей, позволял отправить в гостиницу консультантов. И когда все расползались, Иосиф с видом полководца, одержавшего победу, утирал пот и с тяжким вздохом произносил, адресуясь ко мне:

– И вот так каждый день!

Народ, собираясь в местах для курения, восхищенно кивал головами:

– О, Иосиф – это голова!

А я немало огорчил его, сказав однажды:

– А ты попробуй, Иосиф, прогони бесполезных советников и перестань сам мешать людям работать...

Он изумлено выпучил и без того выразительные восточные глаза:

– Я мешаю?!

– Ага. Не доверяешь и подменяешь.

Святая святых организационной работы – подбор кадров и проверка исполнения. Я убедил Иосифа заставить четко работать и отвечать за дело все студийные службы, а кое-где и подправить структуру управления, заменить людей. Во главе производства стоял опытный,

но намертво зажатый Дорским инженер Александр Маркович Порицкий, надо было ему лишь развязать руки, и дело со скрипом, со срывами, но пошло. А вот техническая линейка – важнейшая часть кинопроцесса – была фактически без управления. Я присмотрел у себя в аппарате толкового инженера Бориса Антоновича Попова, который, по сути, руководил одним киномехаником да писал какие-то инструкции. Правда, кадр был, как говорится, со щербинкой – попав в плен 18-летним мальчишкой, работал в концлагере чернорабочим при огороде, а в Белоруссии это уже расценивалось как факт сотрудничества с оккупантами. Я пошел наперекор традиции и назначил его главным инженером студии, за несколько лет он сделал техническую базу «Беларусьфильма» одной из лучших в Союзе, к нам ездили за опытом.

Но главная работа предстояла впереди – надо было разобраться с каждым фильмом и возобновить производство. Над шестью картинами висело 12 членов редколлегии – 6 в комитете и 6 на студии. Известно, что у семи нянек дитя без глаза. Считалось, что в комитете наиболее умные. Я оставил при себе одного главного редактора, а остальных, раз умные, отправил на студию, пусть ведут картины. Бездельники отсеялись сами собой. Пришлось перечитать все сценарии, разобрать режиссерские разработки, а потом вместе со Скворцовым, Дорским и съемочными группами выработать стратегию по доводке до дела каждой картины. Началась работа с авторами по дописке сцен – требовалось обосновать расход дополнительных 300 тысяч. Ох уж эти неуправляемые авторы! Помню, сидим всей командой, ломаем головы, а Володя Короткевич, писатель, говорит:

– Я на минуточку, извините, в туалет...

Вышел и исчез на три месяца, а мы выкручивались как могли.

После этого я выехал в Москву, следом за мной потянулась режиссерская молодежь. Словно вчера было...

Доложил согласованный с главной сценарной коллегией Госкино стратегический план Романову и, пока он читал бумаги, отвернулся к окну. А во дворе на лавочке сидят, словно котята, выброшенные на загородном шоссе, Виктор Туров, Борис Степанов, Игорь Добролюбов, Виталий Четвериков, Володя Бычков, Валя Виноградов, Ричард Викторов... А над ними белеет седой хохолок художественного руководителя Сергея Константиновича Скворцова, одетого, как всегда, скромно и элегантно. И ни движения, ни слова. Сидят, ждут решения судьбы. Да для них это действительно момент судьбоносный – позволят закончить картину, будешь работать в кино, которому посвятил себя, а если нет?.. Кто знает, как сложится жизнь.

Это была минута, когда я понял, что обязан выстоять и победить. Я получил тогда благословение на окончание работ. Вечером мы сидели в пельменной на улице Дружбы и обмывали успех, на ресторан денег не было. С того дня они мне стали близкими людьми – вечно кипящий идеями, весь из нервов Витя Туров, молчун Боря Степанов, степенный и скрытный Игорь Добролюбов, весельчак Виталий Четвериков, неумный фантазер Володя Бычков, держащийся особняком Валентин Виноградов, сдержанный и воспитанный, никогда не теряющий самообладания Ричард Викторов, Борис Рыцарев. А те, первые картины выпуска 1963–1964 годов, как первые дети, дороги по-особенному. Впрочем, чувство родства с кинофильмами, которые мне пришлось курировать от сценария до выпуска на экран более 20 лет, я ощущал по отношению к каждому. А было их, поди до двух тысяч. Стоило поставить подпись под приказом о запуске картины в производство – и она становилась моей, я нес ответственность за судьбу ее наравне с автором сценария, режиссером, художником, оператором. К сожалению это понимали далеко не все, иные обижались за слишком участливое отношение к общему детищу. А мне было одинаково с творцами и радостно, и больно при удачах и неудачах, хотелось своими руками отвести беду, смягчить удары судьбы, которыми сопровождался выход на экран иных творений.

Начав заниматься кинопроизводством, я понял, что не смогу наладить дело, пока не

постигну кинопроцесс, начиная с азов. Сценарная стадия была мне близка по предыдущему опыту. Единственно, что стоило оттренировать, – это умение зримо представить образы героев, задуманных автором, сочинить мизансцену, кадр, эпизод. Здесь помогло мое пристрастие к живописи и сценическому искусству. Мое внутреннее видение, конечно, не совпадало с видением режиссера, но все-таки я мог оживить строчки сценария. Оставалось самое главное – понять, как режиссер переводит фантазию в предметный мир. Я зачастил на съемочные площадки, неважно где – в павильоне студии или за двести верст от Минска. Незабываемое время! Оно было, пожалуй, самым счастливым в бесконечной череде моих кинематографических будней.

Мой первый выезд в экспедицию. Ранняя пора теплой белорусской осени, золотая листва, пастельной зелени трава, прощальная ласка солнца. Одурающе чистый воздух, чуть; приправленный запахом осенней прели, вливается в машину тугой струей. Любота! На горизонте – квадратная башня мирского замка, срезанная острым углом, рыжая черепица длинной кровли над большим залом молельной. Дорога заворачивает, и неожиданно над синевой старого леса повисает золотой лик Спасителя.

– Осталось пять верст, – говорит мой водитель Коля Дурейка.

– Откуда знаешь?

– Князья, когда строили, приказали на башне костела выложить позолоченным стеклом пана Езуса, чтобы каждый гость получал издали благословение.

– Добрые люди были, здешние господа...

– Ага. На всей Западной Беларуси таких катов<sup>2</sup> не знали. Пан светлый князь порол мужиков ежевичной лозой и солью велел присыпать, а пан святой ксендз, чтоб не слышно крику было, в колокола бил. Вроде як с Божьего благословения... Соседи говорили: «Опять в Мире черти свадьбу гуляют»... Прошлым летом тут проходил всесоюзный слет нищих, своего князя выбирали.

Виктор Туров снимает эпизод фильма «Через кладбище» по сценарию Павла Нилина – одного из тех, которых добрая душа из ЦК советовала мне закрыть. Я уже позднее узнал, что Нилина, не знаю, за какие уж грехи, начальство не жаловало. Перед замком был стеклянно-ясный пруд, и как раз когда мы подъезжали, над водной гладью разнесся гневный окрик режиссера, усиленный «матюгальником» – мегафоном:

– Остановите машину, кого там черт несет? Я же велел перекрыть дорогу... Внимание! Зючиха, пошла! Мотор!

И по зеленой кромке над водным зеркалом, не спеша, тронулась повозка. Красно-пегая Зючиха плыла в двух ипостасях – вниз и вверх ногами. Это было не только забавно, но и необыкновенно красиво, картинка выглядела прозрачно-легкой. Через несколько минут мы познакомились не только с любимицей группы Зючихой, но и с не менее любимым возницею – народным артистом СССР Владимиром Белокуровым. Кстати, Владимир Вячеславович очень любил сниматься у наших режиссеров, и мы с ним подружились.

Опять загремел мегафон:

– Всем по местам! Снимаем третий дубль, – Турова что то не устроило.

Когда я подошел к операторской группе, он увлеченно и горячо разъяснял главному оператору Юре Марухицу чего он хочет от кадра. Для меня важно было понять, что не устроило режиссера. Я приехал сюда не любопытства ради и не поруководить творческим процессом, а поучиться. Дело приходилось постигать с азов. Сотни километров, десятки дорог, долгие часы сидения в павильонах. Я благодарен и по сию пору своим юным подопечным и моим учителям: операторам Толе Заболоцкому, Юре Марухину, Саше Княжинскому, мэтру «графу» Андрею Булинскому, художникам – стихийно талантливому Жене Игнатьеву, академичному Володе Белоусову, которые, сами того не зная, открывали мне тайны художественного мастерства, умения создавать неповторимый колорит и

---

<sup>2</sup> Кат – палач (белорус).

настроение кадра. Мне повезло, что я постигал кинематограф у поистине талантливых людей. Все они стали большими мастерами, гордостью советского кинематографа. Особую роль в своей кинематографической судьбе отвожу Сергею Константиновичу Сковрцову. Профессионал высшей пробы, обладающий тонким вкусом, талантливый педагог, деликатный и умеющий найти подход к каждому человеку, он не жалел времени на тех, кто вступил на тернистый путь режиссуры. Я ни разу не видел его взвинченным, проявляющим нетерпение, раздраженным, хотя те, кого он выводил на дорогу, были далеко не ангелы и в малом, и в большом. Соколята, встав на крыло, не замедлили предать своего наставника. Его попросту бросили, оставили в одиночестве. Забыты были и надежная твердость его руки, помогавшей каждому из них подняться на дрожащие ножки, и бесценные уроки жизненной мудрости, и наука глубокого постижения характеров, и умение найти адекватное кинематографическое выражение. Белорусское правительство оказалось благороднее – Сковрцову присвоили звание заслуженного деятеля искусств, назначили пожизненную персональную пенсию. А его питомцы, сделав по одной картине, почувствовали себя мэтрами, забыв, что творчество – это непрерывное учение, постижение непостижимого. По-разному сложились их судьбы в дальнейшем, одни вознеслись, для других первая удача стала последней, но их удачи и неудачи также помогли мне в поисках «двадцать пятого кадра».

Пишу воспоминания и все время боюсь напыщенности и пафоса, боюсь показаться манерным и таким умником, который хватал все с налета. Но что делать, писать об искусстве бытовым языком невозможно, а постигать тайны «двадцать пятого кадра» мне приходилось действительно с налета, времени на раскачку не было, банковский счетчик стучал неумолимо. «Двадцать пятым кадром» я называю способность вобрать в себя не только внешний, пластический ряд экранной картинки, но и то неуловимое и почти неопределимое словом впечатление, которое рождается от встречи с ней. Говорят, что человеческий глаз в состоянии уловить впечатление только от двадцати четырех кадров пленки, движущейся со скоростью двадцати четырех кадров в секунду, а если вставить двадцать пятый кадр, то он воспринимается уже не глазом и силой разума, а непосредственно подсознанием. Сложно? Но иначе не скажешь. Я вырабатывал в себе умение схватывать впечатление от кадра целиком, без попытки разложить на составляющие – свет, цвет, звук, актерский образ, ритм. Помимо этого существует еще настроение кадра, которое создается совместными усилиями художника, оператора, внутренним состоянием актера, цветом и фактурой декорации, освещением, движением воздуха, погодой, энергией режиссера и еще бог его знает чем, что в совокупности и составляет факт искусства, проникающего в наше подсознание. Если это удастся, значит, художник сумел, а если глаз скользит по поверхности экрана, не воспламеняя душу, значит, не сумел. Опять ловлю себя на том, будто пишу учебник. Отнюдь! Я просто по истечении лет пытаюсь осмыслить, как я сумел заразиться киноискусством на всю жизнь, что помогало или мешало мне делать свою биографию. Ведь такова цель этих записок.

Необыкновенно много давало общение с актерами, а уже на первых порах мне пришлось увидеть работу таких мастеров, как Белокуров, Плятт, Грибов, Любшин, Виталий Соломин, мхатовская Васильева, Золотухин. Я имею в виду, не столько прямое, сколько экранное общение. Они работали по-разному. Одни попадали в цель с первого касания другим требовалось несколько дублей. На всю жизнь запомнился отсмотр более 10 дублей Славы Любшина в фильме «Альпийская баллада». Снимался эпизод схватки беглого «хефтлинга»<sup>3</sup> с немецкой овчаркой в горном ручье, когда он побеждает собаку. Раз за разом он бросался на разъяренного зверя – пес ведь лютовал по правде – в ледяную воду (+4 градуса по Цельсию) и снова требовал:

– Повторить.

---

<sup>3</sup> Хефтлинг (Haefltling) – узник (нем.). Так называли изможденных заключенных фашистских концлагерей.



Он остался доволен сыгранным куском только тогда, когда вошел в запал бешеной ненависти к псу, угрожающему его жизни. Рассказывали – этого не было в кадре – что собаку с трудом отобрали у актера. Едва выдохнув:

– Довольно... – он, обессиленный, упал на траву.

А как роскошно вел сцену игры в бильярд Белокуров, воплощавший в фильме «Москва – Генуя» образ Ллойд-Джорджа. Эпизод записан в сценарии двумя строчками, а опытный актер растянул его метров на 150 (полчасти), сделал ударным и чрезвычайно важным для концепции фильма. Вот он, не спеша, берет кий, рассматривает его, поворачивается к столу, добродушно ворчит, улыбаясь в усы, вышколенный и величественный английский дедушка, этакий сытый кот. И все время от него глаз не оторвать. Шельма, Актер Актерыч! Но вот одно мгновенное, резкое движение – и кот превращается в хищника, достойного представителя Владычицы морей.

Я сдал в положенные сроки все фильмы, и каждый из них возил в Москву лично. Во-первых, надо было перезнакомиться с аппаратом, найти друзей, во-вторых, следовало заставить уважать себя. За короткие пробежки по коридорам власти в прежние заезды я понял, что ждать милостей от чиновников не приходится. Над ними не капало, и съемочные группы просиживали неделями в ожидании заветного акта о приемке фильма. Просмотр фильма? Нет, давайте завтра... хотя, лучше, послезавтра... Следующий этап: обсуждение. Завтра, на свежую голову. Акт подготовим к завтрашнему утру... Акт готов, надо подписать у начальника главка... Нет, сегодня его не будет. Они были славные ребята – сначала Лева Кулиджанов, потом Юра Егоров. Но ни одного, ни другого на месте не поймать. А еще предстоит, чтобы зам. председателя Госкино Владимир Баскаков украсил завизированную всеми бумагу своим автографом. А у Владимира Евтихиановича, мрачного на вид, но «доброго внутри», настроение менялось, как осенний ветер... Всем им было не понять, что опоздай акт на один день, банк прихлопнет счет студии, и полторы тысячи человек не принесут домой зарплату... Безразличие к судьбе студии предстояло переломить. И переломил. Никогда не сидел в Москве больше двух дней. Всех начальников брал мертвой хваткой. Главное было внушить, что Белоруссия – это не Белорусская область, вроде, скажем, Вологодской, а суверенная республика, такая же, как и РСФСР, а фильм сдавать приехал не завхоз «Беларусьфильма», но министр и полномочный представитель правительства республики. Правда, если зампред Госкино пытался улизнуть через другую дверь, чтобы не брать на себя ответственность, а спихнуть на другого, полномочный министр не гнушался перехватить беглеца и сунуть ему ручку для подписи.

А дела шли своим чередом. Работяга Петр Борисович Жуковский, нахмутив брови и строго поджав губы, безотказно и успешно тащил кинофикацию и кинопрокат, я старался ему не мешать. Правда, пришлось немало потрудиться, чтобы он научился улыбаться, уж слишком суров был. Зато второй заместитель, Володя Ивановский, знакомый мне по вместной работе секретарями горкомов комсомола, заносчивый и малость хвастливый витеблянин, был энергичен сверх меры и порой путал мне карты. С Жуковским они были на ножах. Разрулить ситуацию помогло несчастье – едучи зимней ночью к жене в Витебск, погиб «добрый дух» студии, Иосиф Дорский. Я затеял большую реорганизацию. Во-первых, надо было ликвидировать студию документальных и научно-популярных фильмов, которая влачила жалкое существование в приспособленном здании – бывшем костеле. При этом техническая база «Беларусьфильма» использовалась на половину мощности. Я уже предлагал документалистам переехать туда, но они цепко держались за свои занюханные углы. Во-вторых, мне не нужны были два зама, которые мешали друг другу. Пускай будет так: один зам, он же начальник главного управления кинофикации и кинопроката, второй зам, он же генеральный директор студии. С проектом постановления я пошел к председателю Совмина. Он встретил меня недоверчиво:

– Что, опять явился какие-то загадки загадывать? – Он побаивался нас двоих, самых молодых министров: меня и Леонида Хитруна, председателя госкомитета сельхозтехники, –

чуть не на каждом заседании Совета министров мы поднимали «неудобные» вопросы.

– Честное слово, Тихон Яковлевич, никаких загадок. Все ясно, как божий день.

Прочитав бумагу и проект постановления, он поднял на меня глаза и улыбнулся:

– Очень дельно. Действуй. Внесу на ближайшее заседание.

Я поблагодарил и поднялся, чтобы уйти, но он придержал:

– погоди, а теперь скажи мне, зачем ты это делаешь?

Я удивился:

– Там же все написано...

– Мало ли что написано... А на самом деле?.. Избавиться от кого-то надо?

– Тихон Яковлевич, вы мне не верите? Смотрите: никого не увольняю, все при деле, все при зарплате, а кое-кто и прибавку получит, большая экономия за счет ликвидации студий...

Он пожал плечами:

– Чудак. Все идут, просят: дай, дай, дай, а ты предлагаешь – возьмите.

– Я вас обманывал когда-нибудь? Помните, триста тысяч? Все до копейки вернул, а ведь мог и не вернуть, и вы ничего бы мне не сделали.

Он засмеялся:

– Убедил, действуй.

Несмотря на вопли документалистов, не желающих покинуть любимых тараканов, я провернул реформу в две недели, и все стало на места. Костел передал Союзу кинематографистов, чем сразу завоевал доверие его председателя, старейшины белорусского кино, Владимира Владимировича Корш-Саблина, и он перестал мешать моей работе. Жуковский понемногу привыкал улыбаться, не бегал ко мне жаловаться на Ивановского. Ивановский оказался на редкость деятельным и полезным работником на студии. С моих плеч свалилась куча хозяйственных забот, которые покойный Дорский очень умело перекидывал на меня. Даже сдачу картин Володя взял на себя. Мы с ним затеяли и провернули очень большое дело: в 43 километрах от Минска получили 70 гектаров леса и лугов на пересеченной местности, с ручьем, который преобразили в пруд, заброшенной узкоколейкой. Организовали там площадку для съемок на натуре. За счет строительства декораций выстроили целый городок – гостиницу, склад для аппаратуры, партизанский лагерь, старую деревню... Все – под видом декораций. Хотя это были декорации, но в отличие от старого порядка, отсняв, не ломали и не жгли их, не продавали на дрова. А 43 километра – это уже можно было приплачивать к зарплате командировочные расходы, чего, скажем, нельзя было делать при 40 километрах. Сколько тысяч принесла эта площадка за счет сдачи в аренду другим студиям и насколько удобнее стало работать самим!

Время было непростое. Никита Сергеевич, развалив все, что смог, в сельском хозяйстве, обрушил свою неумную энергию на подъем литературы и искусства. Воспоследовал ряд возвышений и падений имен и судеб, притом без всякой системы. Одних, как Солженицына, подняли до уровня Льва Толстого (статья Ермилова в «Правде»), других утюжил бульдозерами (в буквальном смысле, как это было с выставкой скульпторов-модернистов). Поэтов-новаторов Никита Сергеевич без долгих раздумий окрестил «пидирасами», на Анне Ахматовой висело грязное пятно, как на публичной женщине. А что же «важнейшее из искусств»? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина! И последовал разгром новой картины Марлена Хуциева «Застава Ильича». Я состоял в одной партии с Хрущевым, исповедовал те же идейные принципы, смотрел оба варианта картины – основной и переделанный – и, честно говоря, так и не понял, что вызвало гнев «кукурузника», где он усмотрел крамолу. Обычные противоречия отцов и детей, которые, освоив опыт старшего поколения, идут дальше, хотят жить по-своему. Ему бы, мудрецу доморощенному, «сделать стойку» на Солженицына. Хитрый политикан, Хрущев не без умысла разоблачил бесчинства Сталина. Это был громадный политический выигрыш для него и в общественном, и в личном плане: под расстрельными списками стояли и его подписи. Крича громче всех: «Держи вора!», он переводил стрелку на Сталина, отводил от

себя и соратников участие в политических репрессиях. У него хватило ума и хитрости остановиться на политическом разоблачении культа личности, не допустив разгула эмоций. Представим себе на минуточку, какую волну народного гнева вызвали бы живые свидетельства мучеников режима в пору, когда многие еще были живы, а раны свежи. Но на уста средств массовой информации была наложена печать умолчания. «Культе личности, культе личности!» – кричи, сколько хочешь, но ни одной личной судьбы, ни одной картинке истязаний на телеэкране, ни одной подробности тюремного и лагерного быта в литературе и искусстве. Культ был, а последствий вроде бы и не было. Романтические образы борцов революции и кристально-чистых комиссаров по-прежнему волновали бардов с Арбата, заодно они славили хрущевскую «оттепель». Власти опомнились и начали уводить Солженицына потихоньку в тень, а потом и вовсе сплывили за границу. Но джинн сталинских репрессий уже был выпущен из бутылки и начал будоражить общество, подкапываясь исподволь под устои советской власти. А вслед за «оттепелью» пришли «холода».

Тайной за семью печатями осталась для меня травля гениальной картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев», которую то выпускали на экран, то снимали, то разрешали вывезти за рубеж, то требовали отозвать в день, когда уже в Париже был объявлен сеанс. Председатель Госкино А. Романов метался между Гнездиновским переулком и Старой площадью. В конце концов «Рублев» все же уехал на Каннский фестиваль и получил приз ФИПРЕССИ (объединения прессы), хотя, на мой взгляд, более достойного претендента на главный приз не было. Мне кажется, что именно издевательская возня с «Андреем Рублевым» ожесточила характер Тарковского, он озлобился и возненавидел любое прикосновение указующего перста к его творчеству. Помню, значительно позднее, когда было закончено и принято к выпуску на экран «Зеркало», оставшись вдвоем с Андреем, я спросил:

– Андрей Арсеньевич, мне, ради постижения вашего творческого опыта, интересно, как возникла потребность в данном месте фильма использовать библейский образ «неопалимой купины»?

Он жестко сомкнул челюсти и процедил сквозь зубы:

– Я Библию не читал...

Такая откровенная ложь и нежелание разговаривать меня даже не обидели: он в каждом «руководящем» вопросе видел подвох. А мной руководил неподдельный интерес к его творческому методу.

Как мне кажется, столкнувшись с феноменом «Андрея Рублева», власть предержащие испугались раскованности мысли и новизны киноязыка, которые все более настойчиво утверждались в творчестве молодой режиссуры. Вероятно, особенно пугало, что эти веяния пришли с западными ветрами. Я помню, какое ошеломляющее впечатление произвели на меня работы итальянских неореалистов и польских мастеров Ежи Кавалеровича и Анджея Вайды. Экран заговорил языком жестокой правды, от которой старательно оберегали советских кинематографистов и начальство, и официальная кинокритика. С языка наших молодых режиссеров не сходили имена мастеров психологического кино: Микеланджело Антониони и беспощадного в обличении «общества потребления» Фредерико Феллини, обнажающего ханжество и убожество духовного мира буржуазии испанца Луиса Бунюэля и других мастеров западного кино. К сожалению иные из наших режиссеров с жадностью заглатывали свежую наживку. Но вместо творческой переработки великолепного опыта старались механически наложить на нашу жизнь буржуазные схемы. Но убожество хрущевских пятиэтажек никак не компоновалось с роскошью буржуазных апартаментов, а наша домохозяйка, замученная очередями, глядя на терзания богатой бездельницы-буржуазки, вздыхала: «Мне бы ваши заботы». Мода рождала поток серых и фальшивых картин.

Неразборчивость поражала. Почему за образцами надо ехать за границу? Западные мастера называли своими учителями российских гениев, Достоевского и Толстого,

Эйзенштейна и Станиславского, в полную мощь развернулся талант великого Бондарчука, ошеломлял открытиями в области киноязыка Андрей Тарковский, герасимовский «Тихий Дон» потрясал глубиной исторического исследования и верностью в раскрытии народных характеров, а мы долбили: Феллини, Антониони, Антониони, Феллини... Но и тот и другой были глубоко национальны в своем творчестве! Думаю, никто из них не взялся бы, да и не смог поставить сцену псовой охоты так, как это сделал Бондарчук в «Войне и мире», не было и нет равных ему баталистов, он обессмертил образ русского солдата и беспощадно осудил войну в фильме «Судьба человека».

На «Беларусьфильме» удачи сопутствовали режиссерам, которые следовали традициям русского реалистического искусства, опирались на исторический опыт народа, не отвергали традиций жанрового искусства. Виктор Туров, после экранизации повести П. Нилина «Через кладбище», поставил по сценарию замечательного литератора Геннадия Шпаликова поразительную по глубине чувства ленту «Я родом из детства». Сиротская судьба автора и трагизм военного детства режиссера дали удивительно душевный, окутанный печалью сплав, картину редкую по душевной тонкости, я думаю, одну из лучших об украденном войною детстве. На серьезные обобщения вывела картину песня Владимира Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов». Большой удачей для неумного фантазера и выдумщика Володи Бычкова стала редкая по цельности стиля, живописности и романтизму сказка «Город мастеров». Борису Степанову удалось талантливо перенести на экран повесть Василя Быкова «Альпийская баллада». Увенчалась успехом попытка исторической драмы «Москва – Генуя» режиссера Алексея Спешнева. Писатель Алесь Адамович вместе с Туровым взяли за большую картину на партизанскую тему «Сыновья уходят в бой».

Политические бури не коснулись творчества наших кинематографистов, хотя споров в процессе сценарной подготовки и съемок возникало немало. Наиболее крикливым оказалось племя молодых документалистов. Не то на пленуме Союза кинематографистов, не то на заседании коллегии я выслушал гневный упрек в отсутствии творческой свободы, что порождает серость, мелкотемье и т.д. Досталось и «социалистическому реализму» как неумному творческому методу советского художника. Я, понятное дело, не мог опровергнуть доктрину, утвержденную партией, хотя теоретическими изысканиями в этой области не занимался. Смысл «соцреализма», если очистить его от шелухи научных слов, это приукрашивание жизни в соответствии с коммунистической доктриной. Иначе говоря, ложь как метод творчества. Для меня существует хорошая или слабая литература, хорошие или слабые фильмы, я не терплю фальши, схематичности, пустоты. Не зная метода соцреализма, творили Пушкин, Гоголь, Лермонтов, ранний Маяковский. Чем они руководствовались – меня не интересует. Это критики привыкли раскладывать все по полочкам. Документалисты требовали абсолютной свободы творчества, иначе говоря, требовали снимать правду. А какова она? Полемизировать с ними абстрактно не имело смысла, да и отвергать «партийный» метод творчества я не имел права. Выбрав троих, наиболее крикливых, пригласил к себе и сказал:

– Вот вам, ребята, по 20 тысяч рублей, по «Конвасу»<sup>4</sup>, 3000 метров пленки – на пять дублей – хватит? Снимайте, что хотите, но через два месяца жду с готовыми фильмами. Все по нормам, без обиды, так? Буде не хватит приходите. Согласны?

Через два месяца, все как один, приползли повиниться – ни один фильма не сделал. Молодая амбиция рвалась на волю, и хотелось «самовыразиться», сотворить что-нибудь этакое-такое необычное, выдающееся, крикнуть громче всех... А что сделать и как – пороку не хватило. И не только пороку – масштаба мышления и жизненного опыта. Пришлось в помощь каждому дать по наставнику из тех, кого они считали замшелыми консерваторами. Общими усилиями вытащили нечто приемлемое, но, увы, не выдающееся.

---

<sup>4</sup> «Конвас» – марка кинокамеры.

В художественном кинематографе конфликты назревали более крупные. И спор навязывали не мальчики, а крупные авторитеты литературы. Мне пришлось проявить немалую стойкость, отбивая нападки на «Третью ракету» Ричарда Викторова по повести Василя Быкова. Картина жестко и в убедительной художественной форме утверждала, что трус и предатель в бою с фашистами опаснее врага. Ревнителю чистоты рядов Советской армии усмотрели в этом поклеп на нее, и начались сердитые окрики. Но, так или иначе, удалось отмахаться. А в «Альпийской балладе» по повести того же Быкова мы вошли с автором в конфликт. Ему не хватило художественных аргументов в утверждении собственных идейных амбиций. Едва не умирающий от голода беглец из фашистского плена, вспоминая довоенную жизнь, жалуется итальянке, также беглой, на несправедливости социалистического строя. Без какого-либо сюжетного или логического основания Быков втаскивал политический мотив. Против такой натяжки бунтовал мой собственный эстетический и жизненный опыт. Я вовсе не собирался обелять ошибки советской власти при коллективизации деревни. Меня удивляло, что Быков, большой и тонкий художник, не чувствовал фальши. Напрасно я доказывал, что в заданную им сюжетную ситуацию этот мотив никак не вписывался и грубо разрывал художественную ткань. Я рискнул сослаться даже на собственный опыт. Ранней весной 1942 года я находился в ситуации бегльца из плена. Блуждая вторую неделю по снегам в немецком тылу, когда от голода мир утратил краски и стал черно-белым, а сознание путалось, видения мои были связаны не с арестом любимого дядьки, а с мучительным желанием выпить стакан чая или хотя бы горячей воды. Быков не принимал никакой аргументации, видя в замечании только насилие над волей писателя. В конце концов я отступил, тем более что эпизод не имел самодовлеющего значения. Да и автор был скандальный. Как никто из белорусских писателей, он опубликовал все написанное до строчки и вышел на всесоюзный масштаб, и, как никто, громко кричал, что его зажимают, обижают и т.д. А у кого из пишущей братии не бывало стычек с редакторами?

В патриотичной и доброй работе Виктора Турова «Сыновья уходят в бой» не назойливо, но совершенно определенно прозвучало сочувствие к молодым немецким оккупантам, которых жестокая война увела от любимых «муттхен». Взгляды автора сценария, молодого и, несомненно, талантливого доктора филологии Саши Адамовича (тогда мы были «на ты»), я знал хорошо. Знал, что в годы оккупации его мать, хоть и не по доброй воле, была в контакте с немцами и лишь Потом вместе с 15-летним Сашей попала к партизанам. Знал и то, что немецкие солдаты были вовсе не звери все подряд. Попадались среди них и добрые люди, не обижавшие местное население, а иногда и помогавшие женщинам. Об этом мне Рассказывала жена, пережившая оккупацию на Дону. Возможно, Саша питал симпатию к кому-то из молодых немчиков, но вызывать сочувствие к ним в картине о партизанах едва ли стоило, особенно в белорусской киноленте. Немцы сожгли на нашей земле 200 городов, 9000 деревень, более 200 из них вместе с жителями. От их рук погиб каждый четвертый житель республики. После войны минуло двадцать лет, но народ ничего не забыл и не простил. Даже пособники немцев, отсидевшие тюремные сроки, не рисковали вернуться в свои деревни. Случалось, находился смельчак, но ни один не попал домой. Их находили в лесах и оврагах убитыми – народное правосудие было неумолимо. В городе Слуцке сожгли мою хорошую знакомую, судью, вместе со всей бригадой и залом заседания за то, что она, по мнению публики, вынесла слишком мягкий приговор предателю. Нам ли было вызывать сочувствие к молодым немчикам, которых терзали русские морозы, как это было в фильме? Каждый зритель вправе был спросить: а кто тебя звал сюда, оккупант?

Идейная амбиция автора вошла в противоречие с правдой жизни и художественным замыслом. А то, что Саша относился более чем иронически к официальной идеологии, для меня не было секретом. Он настойчиво тянул в сторону общечеловеческой морали, равной ответственности немцев и русских за тяготы войны, отрицал различие между войнами справедливыми и несправедливыми. Я тоже в принципе отрицаю войну и любое убийство,

как нечто противоречащее самой природе человека, но время подставлять левую щеку, если тебя ударили по правой, еще не пришло. И вряд ли скоро настанет. В случае с картиной «Сыновья уходят в бой» я пошел на компромисс, плач по озябшему немчику терялся в цепи подлинно трагических эпизодов народной войны.

В общем, кинематографические будни были далеко не спокойными. Но работа приносила удовлетворение, тем более что в успехах и неудачах винить было некого, кроме себя. Я за почти семилетний срок работы в Госкино Белоруссии не слышал ни нотаций, ни окриков со стороны партийного руководства. Мне доверяли полностью. И я был свободен в своих действиях. Секретарь ЦК по идеологии Василий Филимонович Шауро, с которым я иногда делился горестями и сомнениями, успокаивал:

– В творчестве нет ровной дороги. Работайте спокойно, нам важно, чтобы на этом участке были вы.

Если случались нападки, он грудью вставал на мою защиту. Потом Шауру забрали в аппарат ЦК КПСС заведующим отделом культуры. С заступившим на его место Александром Трифоновичем Кузьминым мы находились в приятельских отношениях, тем более что он был человеком необыкновенно чистым, добрым и обладал широтой души. После свержения Никиты забрали в Москву Мазурова, о чем я искренне сожалел. Но и Петр Миронович Машеров также был достаточно близок мне по комсомольскому сотрудничеству. Потихоньку наладились и мои бытовые дела. В 1958 году я получил первую в своей жизни квартиру в «хрущевском» доме. Метраж был невелик – 25 «квадратов», но все-таки это было благоустроенное жилье, с ванной и туалетом, и после барачных и приспособленных под жилье случайных клетушек оно казалось раем. А когда работал в ЦК, переселился в квартиру поистине роскошную – 48 метров, правда, на четвертом этаже и без лифта, но рядом с ЦК и в том же доме, где жил Мазуров. Квартира у него была побольше – около 100 метров, но и семья тоже побольше, не то шесть, не то семь человек. Я не был в обиде – для меня с женой и двоих дочурок 48 «квадратов» хватало, тем более что и школа, и поликлиника были рядом. Моя Дина, несмотря на немалый груз домашних забот, окончила библиотечный факультет педагогического института и работала там же лаборантом. Старшая дочь Юлька уже не выпрашивала шоколадку, а занималась в университете, Оксана лазила через забор в школу – так было короче. Все здоровы. Образовался небольшой круг верных друзей. Казалось бы, чего еще – жить да радоваться. Но судьба – «пресволочнейшая штукавина, существует, и ни в зуб ногой».

С отъездом Мазурова из республики нечто неумолимо изменилось в общественной атмосфере. Например, стиль работы ЦК, что вполне понятно и закономерно, но, увы, не в лучшую сторону. Если при Кирилле Трофимовиче в бюро ЦК господствовал принцип коллегиальности и спокойствия, то при Петре Мироновиче возникли заметные начатки авторитаризма. А порой и взвинченности. Будучи, фанатично преданным делу, он работал на износ. Едва ли не большую часть времени проводил в вертолете, появляясь неожиданно то вблизи колхозной фермы, то на стройке, то на пахоте. Возвращаясь в Минск, собирал заинтересованные ведомства, вызывал секретаря обкома, и начинался разбор полета. Ох, несладко приходилось иным! При всей кристальной честности, энтузиазме и деловитости, готовности все взвалить на себя, Петр Миронович имел одну слабость: он, как соловей, любил слушать свой голос. А голос у него был громкий и хорошо поставленный, а фразы он украшал многочисленными причастными и деепричастными оборотами, что, как известно, удлинняет и усложняет речь. Я пишу об этом, вовсе не желая обидеть память человека, которого любил и люблю, но что было, то было. Иногда у меня возникала необходимость посоветоваться с ним. И я приходил в знакомую приемную. Там царствовал клокочущий, как вулкан, помощник, Виктор Яковлевич Крюков. Он держал телефонные трубки возле каждого уха, кому-то давал втык, кого-то вызывал в ЦК и был, как всегда, веселый и шумный, как черт. Увидев меня, кивнул головой:

– Заходи, ждѣт. Только прошу, Борька, не засиживайся. Раз – и в дамки!

– Это уж, как получится, сам знаешь.

Я смело открывал дверь в кабинет. Петр Миронович, широко шагая и не менее широко улыбаясь, выходил навстречу, жал руку и усаживал.

– С чем пришел?

Я едва успевал открыть рот, а он перехватывал инициативу и начинал просвещать меня то по литературной части, то поучать, как вести мелиорацию, сеять картошку, организовать уборку, бывало, и делился свежими впечатлениями очередного визита в область. Беседа продолжалась не менее получаса-часа. Но мне так и не удавалось высказать волнующие меня проблемы. Все было мило, сердечно, и я уходил, обогащенный чем угодно, только не тем, за чем приходил. Чяще всего встреча заканчивалась комплиментом:

– Вы не хуже меня знаете, что делать в кино, я профан в этом деле... Заходите, всегда рад видеть.

Мне хотелось спросить: а слышать? Но он уже прижимал к уху трубку, давая понять – все.

Помощник Виктор Крюков укоризненно качает головой:

– Тебя хоть не пускай к нему, считай час пролетит. У меня телефоны раскались, у всех вопросы.

Я пожимал плечами:

– С начальством не спорят, ему внимают. Учил жить.

Виктор засмеялся:

– Долгоиграющий... Бывает, на бюро заведет шарманку, часа на четыре, а остальные, как школьники – сиди и кивай головой, согласны, мол. Ну, да ты его знаешь...

Думаю, Петр Миронович немножечко хитрил, понимая, что не творческие проблемы привели меня к первому лицу республики, а что-нибудь насчет капиталовложений или квартир для кого-то из подопечных. И секретарь ЦК Саша Кузьмин жаловался:

– Иногда заведется, членам бюро рот не даст открыть.

Машеров сохранял прежний стиль бережного отношения к кадрам, тщательной проработки политических и экономических проблем, не спешил проявлять особого рвения в выполнении директив центра. Но однажды громыхнул явно непродуманным решением: всем советским ведомствам в общении с населением и официальной переписке перейти на белорусский язык, на оном также произносить публичные речи. Неужели забыл попытку сместить Патоличева? Тогда белорусы недвусмысленно высказали свое отношение к сепаратизму, хотя это слово и не было произнесено. Я далек от того, чтобы обвинять Машерова в этом смертном грехе. Полагаю, что нелепую идею ввел ему в уши кто-то из белоусских писателей, вечно недовольных малыми тиражами книг. Но что было делать, если покупатели обходили стороной макулатуру, поставляемую буйным отрядом «письменников», хотя, скажем, Купала, Колос, Лыньков, Крапива, Танк, Кулешов, Шемякин, Быков на прилавках не залеживались. На ура проходили в театрах не только Белоруссии и за ее пределами, пьесы Андрея Макаенка. Не исключая из причин столь опрометчивой реформы факт головокружения Машерова: народ его чтит, и ему захотелось утвердить государственный суверенитет. Несомненно, сказался и дурной пример «самостийников» на соседней Украине – даже в ЦК с нами, «москалями», пытались говорить по-украински. Доходило до нелепостей. Из газеты «Колгоспне сило» в Башкирию послали письмо на украинском языке и получили, естественно, ответ на башкирском. «Колгоспники» с ног сбились, пытаясь найти переводчика, и стали посмешищем среди газетчиков.

Чтобы понять нелепость предлагаемой реформы языка, надо понять отношение белорусского народа к родной «мове». Хотя в XVI веке белорусский язык имел статус государственного в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, авторитета среди населения он не имел и с легкой руки помещиков – польских панов, а также «благородных» российских помещиков и чиновников считался «холопским», «хамским». Каждый, кто чуть поднаторел в грамоте, норовил говорить по-русски, а та часть населения, которая тяготела к Польше (преимущественно католики), старалась овладеть польским. Кстати, и

зарождавшаяся белорусская литература (Цетка, Дунин-Марцинкевич) начиналась по-польски, тем более что колыбелью молодой культуры был польский город Вильно. Родной язык, как и до сих пор, имел хождение в быту, но едва белорус вырывался за пределы родного закуртка, он старался говорить «по-благородному». И это стало неотъемлемой частью народной культуры. Однажды Мазуров послал меня в город Крупки, чтобы уладить конфликт между властями и населением. Там взамен развалюхи построили прекрасную типовую школу, но 1 сентября никто в нее не пришел, а все потянулись в развалюху. Оказалось, что преподавание в новом дворце просвещения будет вестись на белорусском. Никакие уговоры не дали результата. Практичные мамы и папы рассуждали просто: ну, окончат наше дитя белорусскую школу, и дальше пределов республики ему хода нет. На родном языке мы говорим дома. А если любимое чадо захочет учиться в Москве, Ленинграде, Свердловске, Киеве, как будет сдавать экзамены? Мало того, что сочинение писать по-русски, даже математику не сдашь, если перпендикуляр произнесешь как «старчмак». Переводчика таскать с собой прикажете? В доводах родителей, понятное дело, не обошлось без перехлестов. Иные в духе прежней «панской» традиции родной язык считали «хамским», и переубедить их никто не мог. Однажды вопрос о государственном языке возник на пленуме Союза писателей, но Мазуров решил его просто: у белорусского народа два родных языка – белорусский и русский. А вот вы, уважаемые «письменники», объясните, почему ваши дети учатся только в русских школах? Чтобы восстановить справедливость, издали распоряжение: при поступлении в технический вуз сочинение писать на любом из двух языков, а филологи сдавали два предмета – русский и белорусский. Конфликт улегся, а Петр Миронович подогрел его. Переход совершался туго. Помню, как на одном из совещаний секретарь могилевского обкома партии Нина Снежкова с бойкостью необыкновенной читала по бумажке речь на белорусском. Было жалко смотреть, как она путала слова, сбивала ударения, и, всегда остроумная и веселая на трибуне, на этот раз закаменела лицом и тараторила с деревянной интонацией, будто иностранка. Особенно забавно было слышать ленинские цитаты, переведенные на белорусский, словно бы не он писал. Меня всегда повергало в недоумение: во всем мире признаком культуры считалось цитировать философа ли, политического деятеля на языке оригинала, а в Белоруссии, где русский знали одинаково с белорусским, библиотечные полки были забиты переведенной классикой марксизма-ленинизма. Притом языкового запаса в белорусском не хватало, и тексты изобиловали словесными новоделами, которые сами требовали перевода. Большинство томов старели ни разу не востребованными.

Думалось, что эта нелепая затея с всеобщим переходом на «мову» пройдет, как детская корь, но Петр Миронович от своего не отступался. Была такая форма работы с активом: семинары-совещания, проводившиеся раз в квартал. На них собирали со всей республики руководящий партийный советский актив и специалистов по разным направлениям деятельности. Приспела пора идеологии. Позвонил секретарь ЦК Кузьмин и предупредил, что меж иными докладами стоит и мой, о проблемах развития кинематографии. Время на доклад – 20 минут.

Я тщательно подготовился к семинару, записал текст выступления, точно рассчитал по времени. Вышел на трибуну и обстоятельно рассказал об истории и буднях белорусской кинематографии, ничего не приукрашивая и не утаивая недостатков и трудностей в работе. Текст в меру снабдил цитатами, шутками, забавными примерами. Аудитория была для меня самонужнейшая – секретари обкомов, горкомов и райкомов партии, писатели, ученые. Каждый из них мог быть и помехой, и помощником в работе. Я особенно напирал на необходимость помощи съемочным группам, и, кажется, нашел сочувствие. По окончании мне поаплодировали довольно дружно. Еще разогретый и довольный речью, я повернулся, чтобы сойти с трибуны, но меня удержал голос Машерова:

– Не спешите, есть вопросы. Я и не знал, что у вас столько сложностей в работе и такая тонкая, высокоиндустриальная отрасль. Что же вы не заходите, не просвещаете меня?

Вот те на! Сколько раз и заходил, и пытался просветить, но игра шла в одни ворота – он



говорил, я слушал. Ответить: «Слушаюсь» и сойти с трибуны? Но, во-первых, чувствую – последует не вопрос, а вопросы, во-вторых, сбегать с трибуны, вильнув хвостиком, негоже – шесть сотен любопытных глаз глядели из зала, ждали, что отвечу. Все понимали, что первый вопрос – только первый ход, сдать его – значит сдать партию. Ну, что ж...

– Я приходил к вам не раз, Петр Миронович, и пытался посвятить в свои проблемы, но на кино вроде бы времени не хватало, вас занимали другие проблемы.

Я понимал, что в ответ на дерзость получу оплеуху. И точно:

– Надо быть понастойчивей. У меня создалось мнение, что вы не всегда разборчивы в репертуаре, слишком много внимания уделяете зарубежным фильмам, некоторые из них наносят вред нашей идеологической работе.

Эх, зря я не вильнул хвостом! У Петра мертвая хватка, если вцепится, так просто не отстанет. Оглянувшись на зал – те же сотни глаз, но уже не просто любопытные, а как бы даже колющие. Не отступать! Проиграю поединок, ни в один район не сунешься, да и моих людей заклюют. Я решил спрятаться за шутку:

– Вот мне недавно позвонил Иван Фролович Климов и спросил: почему я показываю зарубежные идейно порочные фильмы. А я поинтересовался, какую он картину смотрел? Он ответил: а я их не смотрю, черт бы их побрал, да люди рассказывают. – Зал поддержал меня смехом: Климов до войны работал стрелочником, в партизанке вырос до уровня комбрига и секретаря обкома партии, сейчас был заместителем председателя Совмина, курировал культуру, но знал ее на уровне слышанных в детстве песен и партизанских шуток-прибауток. – А вы, Петр Миронович, какую картину зарубежную последнюю смотрели?

Он смешался:

– Да все, знаете, времени нету...

В зале снова смех.

– Напрасно. Среди них немало разоблачающих буржуазный образ жизни. Все, что выпускается на экран, проходит через отборочную комиссию, которая состоит из специалистов, в нее входят и работники ЦК КПСС.

– Восприятие искусства – дело индивидуальное, люди могут ошибаться...

– Потому прежде, чем осуждать, я и советую посмотреть. Я прикажу посылать вам еженедельную сводку о прибывающих фильмах. Это моя недоработка.

Признать ошибку – половину вины снять. По залу Сц ва прокатился смешок. Петр Миронович побагровел. Я п нял: сейчас он меня уничтожит. Вопрос был на засыпку;

– А я смотрю все картины «Беларусьфильма», а они вроде зарубежных – ни одного белорусского артиста. Вы их специально отсеиваете или в нашей «системе талантов быть не может», – поддел он репликой из фильма «Волга – Волга»

Зал притих, и я понимал, что многие в аудитории разделяют озабоченность первого секретаря. Придется просветить о принципах подбора актеров на роли, мучительных поисках исполнителей не только в пределах Союза, а и за границей, выделить ведущую роль актера на экране. А закончил я так:

– Тактику «самостийности», национальной замкнутости взяли наши соседи, украинцы. Будем делать кино только своими силами! И что получилось? Разбежалась лучшая режиссура, на экране вместо русского языка некий воляпук, балачка, а фильмы студии имени Довженко стали образцом провинциализма и безвкусицы. К этому и нам стремиться?

Машеров стоял на своем:

– Национальное искусство должно делаться национальными руками.

Но и я уперся:

– Для меня Исаак Левитан, хоть он и еврей, является великим русским художником, и скульптор Антокольский, и армянин Иван Айвазовский, и украинец Гоголь... Дело не в национальности художника, а в том, культуру какого народа несет он в своем творчестве. Спасибо за внимание.

Пора было кончать перетягивание каната: по-моему, у нас с Петром Мироновичем

наступила патовая ситуация, и надо, чтобы кто-то прервал партию. Я шагнул с трибуны вниз, не ожидая следующего вопроса. Зал проводил меня сочувственными аплодисментами, они звучали и тогда, когда я поднимался на свое место в президиуме, и когда выходил в комнату за подиумом, чтобы покурить. Вытаскивая сигарету, услышал смех в зале – это провожали Петра Мироновича, которому тоже пришло спело закурить. Аудитория поняла так, что разгоряченный спором Машеров решил высказать мне то, что не успел в ходе полемики. Он подошел и сказал довольно миролюбиво:

– А тебе не кажется, что ты малость подраспустил вожи и дал много воли творческим работникам?

– Моя должность, Петр Миронович, это должность главноуправляющего. Сумеешь убедить, значит победил, не сумеешь – ищи компромисс, не нашел, значит проиграл. При том художник всегда прав. Вот вам ситуация. Андрей Макаенок написал глупую пьесу «Лявониха на орбите». Помните идею? Надо свести с колхозного двора корову, чтобы раскрепостить женщину. И все купились на красивую глупость. А я говорю Андрею: ты – сельский парень, и – сельский парень. И ты, и я – оба понимаем, что без коровы крестьянину не жить. Давай поправим сценарий... Но кому охота делать лишнюю работу. Андрей меня ударил политикой: так ты против линии Хрущева? И он прав: Никита требовал ликвидировать корову, как класс. Теперь представьте на минуточку, что приходит Андрей к первому секретарю ЦК – а ему двери всегда открыты – и говорит: Павленок против линии партии. Что бы вы со мной сделали?

Я обратил внимание, что большинству членов президиума тоже захотелось покурить, они обступили нас полукругом. Машеров призвал меня к героизму:

– Что же, коммунисту иногда приходится поступиться личным против общественного. Надо иметь мужество пожертвовать благополучием ради дела.

– А вы помните, Петр Миронович, когда вы принимали закон, чтобы уничтожить поросят в личных хозяйствах? Я был тогда на бюро ЦК и видел, как вы все единодушно опустили глаза в стол и подняли руки. И вы в том числе... Почему никто не пожертвовал личным во имя общественного?

Я впервые увидел его смущенным.

– Ну... ты знаешь... ты так ставишь вопросы... Слушай, дай сигарету, все, понимаешь, бросаю курить. Полина пилит и пилит...

Окружающие заулыбались, но никто не сказал ни слова, и один по одному стали расходиться, а мы с Машеровым курили и рассуждали о видах на урожай.

Я понимал, что это пиррова победа, и хотя наши отношения оставались добрыми, Петр Миронович стал звать меня на «ты», но в душе было ощущение, что моя резвость не пройдет даром. Нотки авторитаризма все громче звучали на пятом этаже ЦК. И когда меня вызвали в Москву и предложили стать членом коллегии Госкино и начальником Главного управления художественной кинематографии, я дал согласие.

У нас состоялась еще одна встреча с Петром. Приехав забирать семью, решил нанести визит вежливости к нему. Он принял меня с возможным радушием и был таким же, как много лет назад, когда мы коротали ночи за бумагами. Но я его предупредил:

– Если позволите, раньше, когда я заходил в этот кабинет, вы говорили, я слушал, теперь поменяемся ролями.

Мы проговорили три часа. Когда я вышел в приемную, Виктор Крюков налетел:

– Ну, Борька, ну, гад, весь график поломал. – И бегом устремился в кабинет к хозяину.

Я дождался его, чтобы попрощаться. Первое, что он поведал мне, вернувшись из кабинета:

– Зря, сказал хозяин, мы Павленка отпустили. Я не знал, что он белорус, а то бы на место Климова поставил...

## Глава 2. Среди гигантов

Солнечный день ранней весны. Накануне была метель и намела сугробы. В сверкающей белизне пробита голубая дорожка, едва ногу поставить.

– Девчата! Не Москва ль за нами? – Широким взмахом руки я зову за собой «девчат» туда, где почти в конце Ленинского проспекта одиноким кубом высится мебельный магазин.

«Девчата» – это жена и дочери – уныло плетутся за мной, и мой бодрый призыв не прибавляет им веселья. Нас временно поселили в служебную квартиру на Песчаной улице, и первая встреча с ней сразу сбивает настрой. Выйдя из лифта, младшая, Оксана, едва не наступила на пьяного мужика. Он лежал наискосок через площадку, лицом вниз. Возле откинутой в сторону руки валялся нож – нормальная блатняцкая «финка».

– А я думала, мы приехали в столицу нашей родины, – съязвила дочь.

– Проходи краешком... Только к ножу не прикасайся – предупредил на всякий случай я.

Служебная квартира вроде зала ожидания в старом вокзале – затерханные стены, выщербленный и затоптанный пол, немытые окна. Единственно, что порадовало, – свежее белье на казенных кроватях. Даже праздничный стол не смог развеять дух уныния. Но деваться-то было некуда – старшая перевелась из Минска в МГУ, младшей надо было заканчивать четвертый класс. В прежней школе ее аттестовали досрочно и одними пятерками, но не болтаться же ей без дела до осени. Московские педагоги придирчиво проверяли достоинство ее пятерок, но она посмеивалась:

– Все равно они меня не подловят...

Жена выбирала грязь из углов, а на меня свалилась сразу куча дел, и я едва нашел время, чтобы съездить за семьей да сходить в мебельный.

Я вошел в курс дела без раскачки. Работники аппарата мне были знакомы, да и они знали меня, а с некоторыми приходилось общаться и вне служебной обстановки. Однажды они нагрянули в Минск числом одиннадцать человек – футбольная команда, и больше недели «изучали опыт», слоняясь по цехам и отделам студии, вороша архивы Министерства культуры республики. Надоели изрядно, тем более что никого из них я не выпускал из поля зрения – бояться было нечего, но мало ли чего накопают. И когда наступил срок отъезда решил проводить их достойно. Вести целую ораву в ресторан не было денег. Дина нажарила полуведерную кастрюлю котлет, сварила ведро картошки, я запасся спиртным, и мы нагрянули вечером в гостиницу. Мои контролеры, сбившись в номере, хлебали чай без сахара. Почти ежедневные визиты в благородный общепит и локальные посиделки в номерах выпотрошили карманы. И потому, почуяв запах картошки и котлет, принесенных нами, они взвыли от радости. Тому прошло более тридцати лет, но те, кто жив, и по сию пору вспоминают, как мы с женой спасали их от голодной смерти.

Мой приход начальником главка волновал их не только с точки зрения этики, хуже было то, что я испытал на собственной шкуре деловые качества почти каждого. А кто из них без греха, пусть бросит в меня камень. Никто камней не бросал.

Первое, что я сделал, – отладил конвейер, поставил на поток приемку фильмов. Уж очень мне запомнились блуждания по коридорам за подписями начальников и ожидания просмотров, обсуждений, сбор заключений и мнений. Я поставил срок: директора студий и съемочных групп не должны болтаться в Москве более двух суток, чем загнал в хомут прежде всего сам себя. Конвейер не давал и часа свободного времени. Члены редколлегии могли пропустить просмотр «чужого» фильма, а я взял за правило смотреть каждую картину, ибо обязан был ориентироваться в потоке продукции. Студии выпускали до полутора сотен картин в год, и потому мне приходилось каждый день смотреть по одному, два, а то и три фильма. Не менее плотным был поток сценариев, которых студии намечали к запуску в производство, и каждый из них я также должен был знать. Вот и читал минимум по два сценария в сутки. С некоторыми фильмами и сценариями приходилось разбираться дважды. Ритм жизни отработался сам собой: 9–10 утра – просмотр текущей почты, 10–13 – просмотр, обсуждение, 13:30–14 – обед, 14–18 – просмотр-обсуждение, прием посетителей, 18–18:30 – дорога домой, 18:30–19 – ужин, 19–20:30 – отдых, 20:30–23 – чтение сценариев. Иные часы сбивались заседаниями коллегии, беседами с зарубежными визитерами, командировками,

приемами. Потерянное время возмещал субботами. Литературным занятиям отводил часть суббот и воскресений, отпуска. Это продолжалось 16 лет. Мимо меня пролетела Москва со всеми литературными и театральными страстями. Пролетела жизнь.

Попутно с творческим процессом шла отладка экономического механизма. Система кино представляла собой почти идеальную производственно-экономическую структуру. Главной чертой было единство производства и реализации – мы сами изготавливали товар и сами продавали его кинотеатрам через систему проката. В стране было примерно 130 тысяч киноустановок, начиная с крупных кинотеатров (около 500) и всякого рода ведомственных киноустановок, и заканчивая принадлежащими профсоюзам, морскому флоту, а также сельскими и городскими кинопередвижками. Билет на один сеанс стоил в среднем 23–25 копеек (от 5 копеек для детей и 60 – на широкоформатный фильм в крупном кинотеатре). Сеансы за год посещало более 4 миллиардов зрителей, оставляя в кассах 1 миллиард рублей, большую половину из которых поглощал государственный налог. Производство фильмов велось за счет банковского кредита. На эти цели Министерство финансов выделяло ежегодный лимит в 90–100 миллионов рублей (на сколько удавалось уговорить Госплан и Минфин в зависимости от сложности постановок картин). В пределах этой суммы я мог выделить на производство фильма и 350 тысяч, и миллион, согласовав только с собственным министром. Но свобода и у меня, и у министра была в рамках дозволенного. Однажды «Мосфильм» задумал увеличить месячный оклад портному высшей квалификации аж на 10 рублей. Для этого потребовать решение Совета министров СССР, ибо оплата труда кинопроизводстве велась по тарифной сетке Министерства легкой промышленности, там же просимой ставки не было. А «тарифу» все едино, шьет портной солдатские штаны или костюм Людовика XIV. Несколько лет мы бились над внедрением прогрессивной системы премий для съемочных групп, считали, пересчитывали, согласовывали. Дурость существующей системы очевидна – это фиксированная сумма, независимо от того, сколько человек работало над созданием фильма – 30 или 100. Единственное ограничение состояло в том, чтобы размер премии за все время работы над фильмом не превышал квартального оклада работника. Мы рассудили так: если снять ограничение с размера премии, группы будут заинтересованы работать меньшим составом, очистятся от ассистентов с надуманными обязанностями, в работе будет больше порядка, и заработки каждого возрастут. Согласовали новую «премиалку» с Госпланом, Всесоюзным центральным советом профсоюзов, Госкомитетом по труду, Минфином, внесли в Совмин. Нам сообщили: принято без поправок! Ура! Но рано «в воздух чепчики бросали». В согласованное решение чья-то скупая рука дописала: «но не выше квартального оклада». Мне вспомнились десять тарелок супа из акта минского ревизора – дурак, он и есть дурак, независимо от того, где сидит – вверху или внизу. По студиям пошел соответствующий гомон: «Дураки сидят в Госкино, не могли догадаться убрать эту паршивую строчку... В чем же реформа „премиалки“? Но «в чужом пиру похмелье» наступало для нас не единожды – об этом ниже.

Умников хватало и в своей системе. В ту пору мы активно сотрудничали с кинематографиями социалистических стран. Валюты при оказании услуг друг другу не платили, работали «на карандаш». Понадобились, положим, полякам съемки на Памире, мы организовывали их, оплачивали расходы и брали «на карандаш», записывая за поляками долг в сумме расходов. А когда нам требовалось снять в Польше, они поступали таким же образом. Сальдо выводили в конце года, дебет–кредит переключивал в следующий год. И не надо было ходить в правительство за валютой, которую давали крайне неохотно, достаточно было позвонить в Варшаву – и покупай билеты. На первый взгляд, лучше не придумаешь. Но, разбираясь в отчетах, я обнаружил, что один киловатт электроэнергии в Польше стоил, скажем, в 5 раз дороже, кубометр леса – в 10, зарплата персонала была в несколько раз выше и т.д. Таким образом, один студийный велосипед, взятый для съемки фильма «Ленин в Поронино» стоил почти столько же, сколько одна колесница фараона с полной запряжкой коней, обеспеченная цехами «Мосфильма». А стоимости проживания в гостиницах! Дальше – больше. Я так и не узнал авторов порядка расчетов по совместным постановкам – все

расходы делились 50 на 50. Это было вообще чудовищно! Снимая с венграми картину «Держись за облака» (едва ли кто помнит это произведение искусства), мы построили массу декораций, смастерили бутафорский самолет, отсняли в Союзе, полагая, процентов 70 метража и оказались почти в миллионном долгу перед венграми – каждая сторона, естественно, работала по своим ценникам цеховых услуг, метраж в расчет не брался. Общая сумма затрат делилась 50 на 50 процентов. Не помню уже деталей всех расчетов, чтобы выровнять сальдо взаимных услуг. Помню только, что в погашение нашего долга Госкино отгрузило мадьярам три тысячи кубометров авиационной фанеры! Она тут же была реализована партнерами на Запад за валюту по десятикратной цене. Сравниваю же 3 рубля за суп, грозившие директору студии начетом в треть оклада и подарок в три тысячи «кубов» фанеры – вот так бдили наши контрольные органы! Для экономистов Госкино, которые с таким деловым видом пытались меня обучать премудростям кинодела, все обошлось благополучно, шуму поднимать не стали, ограничились некоторыми перемещениями по службе.

Москва правды не любит – ответный удар последовал незамедлительно. На молдавской студии сложилось тяжелое положение: режиссер Эмиль Лотяну, снимая картину «Лаутары», допустил перерасход в 150 тысяч рублей. Будь директор картины поопытней, он списал бы их на счет урагана, который разнес декорации на натуре, но этот факт даже не заактивировали. Директор студии готов был стать на колени, прося найти выход из положения. Для него 150 тысяч перерасхода были смерти подобны – студия выпускала всего три картины, и перекрыть недостачу даже за три года было невозможно, да и кто даст кредит? Я пошел на риск, принял картину не по сметной, а по фактической стоимости, то есть как бы узаконил перерасход. На следующий день к председателю Госкино Алексею Владимировичу Романову поступил докладная за подписью коллеги, где черным по белому было написано, что Павленок занимается антипартийной и антигосударственной практикой, расхитительством народных денег. За это полагалось минимум два года тюрьмы, не считая, конечно, исключения из партии. Добрый человек, Алексей Владимирович, показал мне эту бумагу. Я сказал, что нарушил закон сознательно, и предложил:

– Может, мне тоже написать слезницу про три тысячи «кубов» фанеры? Автор доноса экономист, а считает плохо. Там не сотней тысяч пахнет, а миллионом, и он не отсидится в тенечке, если я капну прокурору. Всесоюзная слава обеспечена и ему, и вам...

Алексей Владимирович порвал докладную. А я понял, что не всякий друг, кто лезет в задницу без мыла, а бдительный экономист был из таких.

Я начал свои воспоминания о работе в Госкино как бы с второстепенного, с экономики и организационных дел, потому что фильмопроизводство – это индустрия. Главное же – творческий процесс, чему я и отдал последующие 15 лет.

Переезжая из Минска в Москву, я понимал, что мне придется менять стиль работы, переучиваться, как переучивается летчик, переходя со спортивного самолета на лайнер. В Минске творческая группа и я вместе работали над картиной, стремясь улучшить сценарий, обсуждая варианты монтажа, избавляясь от длиннот и т.д. Единственно, к чему я никогда не прикасался, – к подбору актеров, только режиссер вправе решать это, только он своим внутренним зрением видит героя. Крупных разногласий не было, отношения между нами были самыми дружескими, я не позволял себе административного нажима. Ребята могли запросто прийти ко мне домой в неслужебное время. Однажды секретарь ЦК Шауро даже сделал мне замечание:

– Деликатность, это, конечно, хорошо, но пусть они не забывают, что вы министр...

В Москве отношения между руководством и творческими работниками были совсем иными. Бывая на пленумах Союза кинематографистов и заседаниях коллегии Госкино, не раз улавливал в подтекстах выступлений режиссеров, а то и сказанном открыто, что государственное руководство мешает свободе творчества, связывает им руки. Не помню, кто

из корифеев на пленуме Союза кинематографистов, глядя в президиум, где сидел Романов, заявил:

– Меняют нам министров, меняют, и каждый новый хуже старого.

Главным инструментом насилия над творческой волей творца считался тематический план. И режиссер, только входящий в кинематограф, и убежденный сединами мэтр были убеждены, что тематический план – это, как бы уязвить половчее, – живое насильственное внедрение диктатуры пролетариата и социалистического реализма в творческий процесс, идеологическое давление на свободу художественного творчества. Второй враг – приемка в Госкино сценариев. И, конечно, я, став начальником над художественным кинематографом, придя в кабинет на 4-м этаже здания на Малом Гнезниковском, дом 7, первое, что затребовал, – тематический план и сценарии фильмов, находящихся в производстве. Сегодня, в 2003 году, когда сгинул темплан, я уже перестаю включать телевизор: опять нарвешься на проститутку, «мента», бандита, совокупление, стрельбу и мордобой. Одинаковые сюжеты, одни и те же артисты, одинаково беспомощная режиссура. Такое впечатление, что непрерывно смотришь одно и то же «мыло», «мыльную оперу» (этой презрительной кличкой окрестили низкопробные фильмы сериалы буржуазного телевидения, укоренившиеся позднее в России). Творческие работники были твердо убеждены, что чиновники, сидящие в Госкино, придумывали идейную отраву для зрителя и заставляли сценаристов и режиссеров ставить фильмы по заданным темам. А нам, производителям, темплан нужен был, во-первых, для того, чтобы ежегодная киноафиша отражала все многообразие жизни – географическое, национальное, социальное, нравственное, историческое; и чтобы в ней, в афише, были имена и корифеев, и дебютантов (до 30 режиссерских дебютов в год). В афише оставались окна для зарубежной продукции (оговорюсь сразу: это были не первоэкранные фильмы, ибо стоимость нового голливудского боевика зачастую превышала наш годовой валютный бюджет). Во-вторых, не имея темплана, нельзя было составить финансовый план. В-третьих я обязан был знать, что находится в производстве, и что переходит на следующий год. А в-четвертых, мне вовсе не безразличным было качество будущих картин, и потому читал все сценарии, прибывающие со студий. Вопреки мнению злопыхателей, рождался тематический план не волевым усилием начальства, а на основе заявок или готовых сценариев, принятых студиями. Госкино не утверждал сценарии, как это было принято считать в творческой среде. Право принимать и утверждать сценарии принадлежало студии, мы только определяли место в темплане. Это не исключало нашего права переносить постановки фильмов на следующий год из-за тематических повторов, а некоторые действительно отвергались из-за низкого профессионального уровня работ. Боже, сколько графомании кочевало по редакторским столам! Бывали конфликты и на идейной основе, но возникали они, как правило, не на сценарной стадии, а при сдаче готовых фильмов. Я не абсолютизировал сценарий как основу фильма. Редкий режиссер придерживался сценария – актерская индивидуальность, фантазия художника, оригинальность операторской работы подчас коренным образом меняли характер сцены, раскрывали идею замысла совсем с другой стороны. Бывало, уже в ходе съемок менялось режиссерское видение.

Откровенный конфуз приключился со мной во время просмотра кинофильма «Полеты во сне и наяву». Сценарий Виктора Мережко был заявлен как комедийный. Но режиссер Роман Балаян по-своему и глубоко трактовал события, развернул их в духовную драму интеллигентного и обаятельного человека, роль которого сыграл любимый мною актер Олег Янковский. Мне показалось обидным (что за глупость!) увидеть серьезного и тем более любимого актера в роли эдакого шалопая. В фильм были внесены некоторые, как мне показалось, пустые эпизоды. Раздражение застило мне глаза, и я в пух и прах разнес талантливую картину. Кроме минутного гнева дело дальше не пошло, фильм был принят и выпущен на экран. Но мне и по сию пору стыдно за тот срыв. И я еще раз понял для себя, что, оценивая художественное достоинство сотен кинолент, не имею права давать волю чувствам и опираться на собственный вкус. Моя задача – не допускать явной несурезицы,

провалов по вкусу, невнятности фабулы и сюжета, держать определенную планку профессионализма, добиваться зрелищной активности фильма. Картина, идущая в пустом зале, – не более чем испорченные километры пленки. Я нередко одергивал своих редакторов, которые увлекались киноведческим анализом: а это, мол, оставим кинокритикам. Эмоциональная увлеченность, без которой невозможно художественное восприятие, мне была заказана. Я, как мог, глушил в себе чувства, скрывая их от окружающих, а вот, смотря «Полеты во сне и наяву», поди ж ты, не смог обуздать себя. Каждый фильм, плохой ли, хороший, был дорог мне, как бывают дороги дети. Поставив подпись под приказом о включении картины в темплан, я уже брал на себя ответственность за судьбу ее, становился как бы членом съемочной группы. К сожалению, не все понимали это и чаще всего встречали в штыки любое замечание или пожелание, воспринимая их как начальственный окрик. И только когда в своих исканиях заходили в тупик, кричали: «Помоги!»

Так было, например, с фильмом «Транссибирский экспресс». Молодой и способный режиссер Эльер Уразбаев снял прекрасный материал, но за монтажным столом потерялся и не смог сложить фильм. Он, что называется, замотался в километрах пленки, наснимал на две серии по односерийному сценарию. Попытки сохранить все отснятое, произведя внутриэпизодные и внутрикадровые сокращения, результата не дали, надо было резать по живому. Но резать свое режиссеру было больно. Я вспомнил давний прецедент на «Беларусьфильме». Запомнил фамилию режиссера, оказавшегося беспомощным и бросившего картину «Годен к нестроевой» почти в конце съемочного периода. Второй режиссер Володя Роговой взялся довести ее до конца. А почему бы и нет? Парень он был расторопный, работал со многими мастерами. Условились, что он поедет с пленкой в Москву и посоветуется с Роммом и Герасимовым, у которых когда-то был директором на картинах, и любым способом умыкнет со студии им. Горького Еву Лодыженскую – выдающегося мастера монтажа. Мэтры дали свои советы, а Лодыженская, посмотрев материал, наметила места и конкретные эпизоды досъемок, а потом смонтировала фильм. Через 3 месяца мы имели очень добрую и милую картину для юношества, собравшую 19 миллионов зрителей, а кинематограф получил способного режиссера, в активе которого, между прочим, и популярная лента «Офицеры». А вот для доводки картины Уразбаева «Транссибирский экспресс» времени на сбор синклита мудрецов не было, решили обойтись домашними средствами. Мы, вместе с ним и главным редактором Госкино Далем Орловым, просидели более двух часов за столом, выстраивая новый поэпизодник. Уехав на студию, Эльер сложил вполне добротную картину, получил за нее республиканскую госпремию и популярность среди миллионов зрителей. В дальнейшем Эльер работал вполне успешно.

Едучи в Москву, я довольно неплохо знал основной творческий состав Союза. На заре работы в кино надумал отпраздновать сорокалетие белорусского кинематографа, имея при этом корыстный интерес. Надо было громко заявить об успехах (которых почти не было) и нуждах (которых было предостаточно) национального киноискусства. Праздник удался на славу. Под него я выбил несколько квартир для творческих работников, капвложения на строительство двух крупных кинотеатров, добился присвоения почетных званий и республиканских пенсий. Москва прислала внушительную делегацию, в составе которой был первый зампред Госкино Владимир Баскаков, председатель Союза кинематографистов Лев Кулиджанов, мастера Сергей Герасимов, Михаил Ромм, Марлен Хуциев, Юлий Райзман, Юрий Егоров, Роман Кармен и ряд других, именитых и знаменитых, а также консультант ЦК КПСС, большой знаток кино, Георгий Куницын. Прислали гостей соседние республики. Первый секретарь ЦК КП Белоруссии, кандидат в члены Политбюро Кирилл Мазуров принял всех у себя, была интересная беседа и еще более интересная полемика между хозяином и гостем, Юлием Райзманом, по поводу фильма «А если это любовь?». Тебе можно позавидовать, говорили мне потом москвичи, имея такого умного и образованного хозяина, можно сто лет работать в кино. Все великие перебивались у меня дома. Хлопотно? Зато потом, по первому моему зову, в Белоруссию ехали охотно художники любого ранга. Праздник

сорокалетия помог мне потом утвердиться в Москве.

Переехав в столицу, я не только лишился друзей, но и вообще попал в другую творческую атмосферу. Клань, группы и группочки, салоны элиты образовывались по пристрастиям и интересам. Но я не мог примкнуть ни к одному из них, чтобы не попасть в зависимость, и, будучи веселым и общительным на службе, за пределами ее жил таким бобылем. Отношения между творческими работниками и партийным руководством складывались весьма необычным образом. Режиссура относилась к нам, представляющим идеологическую структуру в государственном руководстве, в лучшем случае пренебрежительно, а то и презрительно, считая неспособными постичь тайны искусства, заикнувшись на партийных догмах. Наиболее образно высказался «об эстетическом отношении искусства к действительности» известный режиссер Эльдар Рязанов. В речи на пленуме Союза кинематографистов он так сформулировал творческое кредо:

– Все мы – айсберги, и видны на поверхности лишь в одной седьмой части, а что думаем на самом деле, этого никто не знает.

И дальше следовали рассуждения о том насилии, которое, руководствуясь принципом партийности искусства, «начальство» совершает над творческими работниками. Особо жестокой критике подвергалась практика приемки фильмов требования поправок и т.д.

Меня, в общем, не удивило то, что наружу был вытащен призыв к свободе творчества и отвержению партийного руководства искусством. Об этом толковали за «рюмкой чая» и без оной на всех кухонных посиделках. Поразило, что признаваясь в собственном двоедушии и лжи, Рязанов облил грязью всех творческих работников, и никто из присутствующих на пленуме не пытался даже отереть лицо. Но я-то знал немало ребят, искренне верящих в то, что утверждали своим творчеством. Были и приспособленцы – люди с двойной моралью. Я не мог не выступить против, и хотя получил немало аплодисментов, думаю, также немало приобрел врагов.

Начиная с тридцатых годов, кинематограф пользовался огромной популярностью и подлинной любовью зрителей. Он, в какой-то степени, занял место религии, ибо только киноленты касались проблем духовного содержания, раскрытия внутреннего мира человека, нравственных исканий. Героям экрана верили, им подражали, их любили. И это были вовсе не платонические отношения. Нам охотно и много помогало государство, различные общественные и хозяйственные организации, при этом бескорыстно. Широко известен факт, что для обеспечения съемок фильма «Война и мир» по решению правительства в составе Министерств обороны был создан кавалерийский полк, который затем сорок лет обеспечивал съемки отечественных фильмов и выполнял на валютной основе заказы зарубежных фирм. Позднее при полку была создана военно-техническая база, где собрали советские и немецкие пушки, танки, самоходки времен Второй мировой войны, а также конармейские чанки и вооружение Первой империалистической. И все бегало, стреляло и содержалось в полном порядке. Нам не составляло труда собрать на съемку тысячную массовку при ничтожно малой оплате, договориться о съемках на флоте, в погранвойсках, на любом предприятии, словом, «киношников» везде привечали, словно дорогих гостей. А «киношники»? Они, как должное, принимали сердечное к себе отношение и дружескую поддержку, и вместе с тем, презрительно относились к зрителю, как к темной, «эстетически не образованной» массе. И это при четырех миллиардах посещений кинотеатров в год! Видимо, эстетический уровень фильмов, которые снимали наши кинематографисты, устраивал зрителя? Верхом примитивизма считалось индийское кино с его сентиментальностью, слащавостью, обилием песен и плясок. Мой голос тоже был в этом хоре, пока я не съездил несколько раз в Индию, не посидел на киносеансах в зале. Только тогда я понял, что философия индийских кинолент созвучна философии зрителя. Сидящие в зале не просто глазели на экран, они вживались в события, происходящие там, действие и мир образов воспринимались ими как часть их собственной жизни.

А что касается элитарных кинолент, «массам непонятных», то когда у нас было



повальное увлечение феллиниевской работой «Восемь с половиной», выяснилось, что киноснобы, кто восхищенно закатывал глаза при ее упоминании, во-первых, далеко не все понимали картину, а во-вторых, у многих не хватало терпения досмотреть ее до конца. Но признаться, что не понял или не досмотрел, а то и вовсе не смотрел, значило быть отлученным от элиты. Находились, правда, смельчаки, которые при разговоре тет-а-тет признавались: «Уснул, понимаешь...»

Прелюбопытнейшая история случилась с картиной «Белорусский вокзал». «Мосфильм» предъявил ее к сдаче 31 декабря 1970 года. Все разошлись праздновать, а нам с заместителем главного редактора Евгением Котовым выпало смотреть кино. Лучшего новогоднего подарка и не придумать! Молодой режиссер Андрей Смирнов сделал выдающуюся картину. Это был трогательный, берущий за душу, искренний и взволнованный рассказ о судьбах и характерах бывших солдат. Вспрыснув слегка удачу, мы разбежались встречать Новый год. И надо же было так случиться, что я попал в компанию с начальником охраны Брежнева. Он, между прочим, спросил, нет ли чего-нибудь новенького, чтобы показать в праздник семье Леонида Ильича. Я назвал «Белорусский вокзал». 3 января меня срочно затребовал Алексей Владимирович Романов. Я едва открыл дверь в кабинет, как он бросился навстречу:

– Слушайте, что это за картина «Белорусский вокзал»?

Признаюсь, у меня екнуло сердце – Романов выглядел растерянным, как после нагоняя.

– Да вот... Приняли 31 декабря вечером... А что?

– Как она попала к Брежневу?

– Встречали Новый год... Был начальник охраны Леонида Ильича... Я посоветовал...

Романов отирал пот со лба.

– Вы... вы подставили меня...

– Не понравилась?...

– Наоборот! Генеральный позвонил лично! Хвалил, благодарил... А я, как дурак, хлопаю глазами. И только бормочу: да, да... спасибо, спасибо... Черт знает что! Миную меня, Генеральному секретарю!.. Что у нас за порядки такие? – Он еще, видимо, не пришел в себя.

– Так я прикажу поставить на аппарат?

– А? Да, да...

Картина понравилась начальству, критикам и зрителям – всем, кроме постановщика Андрея Смирнова. На студт из нее изъяли эпизод, в котором бывшая фронтовая сестра мыла в ванне троих фронтовиков. А он-то так рассчитывал на эти новаторские кадры! С первого захода – в сонм великих! А так... Андрей считал, что получился не фильм, а какой-то безразмерный чулок – все хвалят, всем подходит. Обида запала в сердце так глубоко, что, поехав на премьеру во Владивосток и выступая перед зрителем, он изругал собственный фильм и заодно партийное руководство. Через несколько дней к нам пришло из Владивостока гневное письмо слушателей филиала Высшей партийной школы: больше не присылайте к нам таких антисоветчиков! Андрей – очень искренний и чистый парень, решил поделиться своими размышлениями насчет практики партийного руководства искусством. Нашел с кем! Позднее мы дискутировали тет-а-тет на эту тему, а также «разминали» выдвинутую им идею многопартийности в советском обществе, сошлись на том, что неясно, кого же будет представлять каждая из партий.

Кляня в открытую партийное руководство, многие из режиссеров имели, как теперь сказали бы, «крышу» в верхах, и вовсе не прочь были лизнуть волосатую руку.

Однажды на меня смертельно обиделся Сергей Юткевич – выдающийся режиссер и деятель искусства, автор многих фильмов, в том числе «Ленинианы», смелый экспериментатор из школы самого Мейерхольда. Я подводил итог обсуждению фильма с участием съемочной группы и дирекции Ленфильма. Кабинет полон людей. Вошедшая секретарь Наташа шепнула, что в приемной Сергей Юткевич и просит незамедлительно принять его. Я попросил сообщить, что приму через пять минут, как только закончу

совещание. Через две-три минуты опять вошла Наталья, принесла записку, написанную печатными буквами: «Поскольку у Вас нет времени принять выдающегося советского режиссера, я не стану ждать, ибо нет времени. С уважением – Сергей Юткевич». Он ушел, хлопнув дверью. И с тех пор предпочитал общаться со мной при помощи записок, неизменно начинающихся словами: «Поскольку у Вас нет времени» и т.д. Может быть, он ждал моих извинений? Но в чем я был виноват? И вдруг Сергей Иосифович является ко мне на прием, не предупредив заранее. Слава богу, у меня никого не было, и я принял его незамедлительно.

– Вы сегодня сможете уделить мне время? – с максимальной деликатностью и ехидством осведомился он.

Я вышел из-за стола и принял, как дорогой подарок, протянутую мне руку.

– Прошу, присаживайтесь, – и даже подвинул ему стул.

Сесть он отказался.

– Извините, некогда. Я только что из Отдела, – это значило, из Отдела культуры ЦК КПСС. – Там прочитали мой сценарий «Ленин в Париже» и одобрили.

– Без замечаний?

Он смерил меня взглядом с головы до ног – мы все еще стояли – и презрительно пожал плечами. Разве мог кто-нибудь сделать замечание мэтру?

– Передаю для включения в темплан. Честь имею, – и вышел.

Я тут же позвонил Юрию Сергеевичу Афанасьеву, заместителю заведующего Отделом:

– Юра, Юткевич принес мне сценарий «Ленин в Париже» и сказал, что вы читали и одобрили. Без замечаний.

– Ну да, там еще работать и работать.

– И вы все ему высказали?

– Не все, конечно. Главное направление поддержали, но кое-что рекомендовали подправить. Дальнейшая доводка – ваше дело.

– Не в службу, а в дружбу – напиши и дай мне главные замечания, а то боюсь, как бы не было разночтений.

– Но я же не могу дать официальную бумагу...

– А мне и не надо официальную, а так, странички из блокнота. Без подписи.

Редкий случай – я получил странички из блокнота. Обычно указания давались только по телефону, и никаких ссылок на мнение ЦК, ни письменных, ни устных, делать мы не имели права. «Странички» – это было 12 пунктов, изложенных более чем на двух листах формата А4. И, единственный в моей практике случай, я нарушил джентльменское соглашение, хотя и в деликатной форме. Я пригласил Юткевича и ознакомил его со «страничками», сообщив:

– Я тоже был в Отделе, и мне сказали, что вы договорись внести в сценарий вот эти поправки. – Он хотел сграбастать бумагу, но я не был так прост, чтобы давать ему в руки улику. – Нет, это оставьте мне для памяти, да и студии надо передать, а вы, если не запомнили, перепишите... Мэтр фыркнул:

– Я и так запомню.

И запомнил. На всю жизнь. Ко мне больше ни ногой.

В патовую ситуацию попал находящийся в зените славы Михаил Ильич Ромм. Он вручил мне однажды для чтения сценарий публицистического фильма «Ночь над Китаем», присовокупив при этом:

– Ничего не понимаю. Все читают, хвалят, а в производство не запускают. Вот показывал в ЦК. И там сказали, что интересно. А на студию команду не дают. Вам не звонили?

– Нет.

– Я оставлю. Посмотрите?

– Незамедлительно.

Что было делать, не откажешь такому знаменитому режиссеру. Вообще-то я не влезал в

конфликты, возникающие на «Мосфильме». Ими занимались на втором этаже – председатель Госкино и директор студии, он же заместитель председателя. При этом хитрован директор студии Николай Трофимович Сизов, прежде, чем идти в Госкино, заручался мнением первого секретаря Московского горкома партии, члена Политбюро ЦК В. Гришина. Играть с такими большими людьми – они мне были не компания. Вернее, я им. И вот просьба Ромма. Итоговый разговор был коротким.

– Михаил Ильич, недавно вы поставили великолепный фильм «Обыкновенный фашизм», а теперь предлагаете снять «Обыкновенный коммунизм»...

– Неужели просматриваются аллюзии?

Я расхохотался:

– Не просматриваются, а один к одному! Только название поменялось... Вы же, Михаил Ильич, сидели в моем кресле, и во времена более сложные. Неужели думаете кто-то скажет вам «нет» или «да»?

– Я как-то не посмотрел с этой стороны, знаете.

– Я так и думаю. Не могли же вы сознательно...

Он молча забрал сценарий и занялся темой бунтующей молодежи. Фильм «И все-таки я верю...» закончить не успел, умер. Картину доделали Марлен Хуциев и Элем Климов.

Сложной была судьба у Юрия Озерова, взявшегося создать художественную летопись Великой Отечественной войны. И «хождение по мукам» начиналось со сценария. Студия, Госкино, Министерство обороны безусловно поддерживали этот эпический замысел. Но известно, что «каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», а тут, тем более, сколько генералов, столько мнений, да и, попросту говоря, хочется видеть себя в фильме и обязательно на «белом коне». Плюс ко всему недреманное око военной цензуры и строгий надзор Главного политического управления, которое одновременно считалось военным отделом ЦК. Как уж он исхитрился пройти этот слалом – уму непостижимо. Не зря друзья называли Юру «Бульдозеров»! Киноэпопея «Освобождение» из пяти фильмов, созданная за два года, вышла на экран, это был мужественный подвиг солдата. Зритель картину принял на ура. У критиков отношение было неоднозначное. Одни считали картину примитивной, другим на экране не хватало мяса и крови, третьих не устраивали образы Сталина, Жукова и, в целом, образ победоносной войны. Более других меня удивило отношение к эпопее главного редактора Госкино Ирины Кокоревой. Подводя итоги года в статье для «Правды», она даже не назвала эту крупнейшую работу советской кинематографии. Полагаю, что побоялась упреков со стороны элитарных друзей. Но пробивная сила Озерова однажды сыграла с ним злую шутку. Он решил завоевать Восточную Европу, создав эпопею «Солдаты свободы». Героями новой работы должны были стать бойцы антифашистского сопротивления, в том числе и руководители коммунистических и рабочих партий. Тут-то и была заложена мина, картина вышла из-под контроля не только Госкино, но и высшего руководства страны: каждый из секретарей дружественных нам партий захотел найти свое место в киноленте. Выделенные союзниками по Варшавскому договору соавторы сценария лезли вон из кожи, чтобы подтянуть образ своего шефа до пристойного оовня. В боевой биографии Тито хватало материала, но что было делать с великим румынским вождем Чаушеску, которому к концу войны стукнуло немногим более 15 лет. Или, скажем, с польским лидером, паном Гереком, не имевшим никакого отношения к освобождению Речи Посполитой. Он рубал уголек в бельгийской шахте, хотя и значился лейтенантом Сопротивления. Картину нашпиговали фальшивыми эпизодами, неуклюже вставленными в сценарий. Не забыты были и наши вожди. Как можно было завершить эпопею, не обозначив, скажем, секретаря Московского горкома партии, члена Политбюро, Виктора Васильевича Гришина? Правда, к началу Великой Отечественной он был всего-то секретарем парткома одного из паровозных депо Подмосковья, но почему бы ему не побегать по железнодорожному мосту с пистолетом в руке? И никто не мог копнуть правду – все художественные натяжки были высочайше одобрены верхами. Не собирать же совещание по

типу Коминформа, а и соберешь, передерутся – каждому хочется погреться у костра славы. Режиссер вернулся из восточно-европейского турне одаренный медалями дружественных держав, но это мало помогло фильму, и в прокате он прошел незаметно.

Повторяю: в мосфильмовские дела старался не лезть, и все-таки меня втягивали туда. Однажды позвонил Николай Сизов:

– Борис, я посылаю тебе сценарий Бондарчука на тему Октябрьской революции, на днях будем обсуждать у Филиппа Тимофеевича, хотелось бы знать твое мнение.

– Две такие головы и не разберетесь?

– Ты же сам понимаешь, Бондарчук...

– Присылай, все равно читать, рано или поздно.

И почти сразу же звонок от Филиппа Ермаша:

– Слушай, забери-ка у меня сценарий Бондарчука, хочу знать твое мнение.

Ермаш сменил на посту председателя Госкино Романова ушедшего на пенсию. До этого Ермаш работал в ЦК партии заместителем заведующего Отделом культуры, и мы были хорошо и давно знакомы. Как выяснилось позднее, даже учились вместе в пятом классе в Барабинске, и он и я служили в десанте, прошли комсомольскую закалку, оба работали под началом Шауро. Думаю, что не без подсказки шефа Отдела меня утвердили заместителем к Ермашу. Естественно, что я полностью доверял новому министру, хотя меня неприятно поразило, когда, сообщив между делом, что я назначен заместителем, в дальнейшем разговоре сказал:

– Ты бы хоть спасибо сказал, что ли...

Я считал лишними излияния благодарности, и хотел отделаться шуткой: может, ручку поцеловать? Но поймет ли? А вдруг подхалимов любит? Ладно, проживем – увидим. На всякий случай буркнул:

– Спасибо, – и продолжил беседу.

Я полагал, что, вызывая меня, Филипп хочет предварительно обменяться мнениями, но, едва я перешагнул порог кабинета – в нем, кроме хозяина, сидели Бондарчук и Сизов, – как Ермаш спросил:

– Что ты думаешь по поводу сценария?

Мне бы, дураку, отделаться комплиментом, сколько я видел, как после премьеры друзья кидались на шею режиссеру: ну, старик, гениально! И тут же, отойдя два шага в сторону, кривили морды: говно... Я врать не мог и сказал, что думаю:

– Сергей Федорович провел гигантскую работу, чуть ли не по минутам восстановил хронику Октябрьской революции. Однако сценарий еще требует шлифовки, его следует выстроить эпизодно, четче прописать образы. Человек, не знающий подробностей октябрьского переворота, вряд ли сможет понять, кто есть кто. И далее...

Бондарчука буквально подбросило над стулом. Он заорал – именно заорал:

– Я Бондарчук! А вы кто?

– А я Павленок. Спросили мое, лично мое, мнение сценарии, и я его высказал. Хотите, считайтесь с ним, хотите – нет. Но сейчас сценарий к постановке не годен. Однако я считаю вас гениальным режиссером и готов, хоть сегодня, подписать приказ о запуске в производство, но пусть директор картины даст мне лимит затрат на постановку. Если сможет сделать это по вашему сценарию.

Бондарчук молча бегал по кабинету. Он прекрасно понимал, что я поставил неразрешимую задачу, но принять критику не мог – не привык. Я перекинул мяч Сизову:

– Николай Трофимович, давайте ваш приказ о запуске в подготовительный период и расчет по лимиту затрат. Я могу идти?

Сизов, как всегда неторопливо, по-волжски окая, ответил:

– Мы на студии помозгуем, немного поработаем над сценарием и, как будет готово, направим бумаги к тебе... Так, Сергей?

Бондарчук продолжал вышагивать по кабинету. Ермаш, откинувшись на спинку кресла,

щурил близоруко глаза, толстые стекла очков высвечивали лукавую усмешку.

– Я могу идти?

Он молча кивнул головой.

Я считал и считаю Бондарчука великим художником, режиссером номер один в советском кино и не имеющим равных в мире постановщиком батальных сцен, непревзойденным мастером лепки образов. Каждый кадр в его фильмах был продуман, нес заданную режиссером смысловую и эмоциональную нагрузку. Был он гениальным и обаятельным актером, стоит вспомнить хотя бы солдата Соколова в его же лучшем фильме о войне «Судьба человека» или отца Сергея из одноименного фильма. Я, признаюсь, любил его, как близкого человека. И хамский наскок на меня при обсуждении сценария «Красные колокола» не изменил моего отношения к нему. Картина эта, кстати, стала творческой неудачей большого мастера. Размышляя об упомянутом эпизоде, я думаю – а не подставили ли меня господа хорошие по удар, зная, что я выдержу? Вероятно, этой схватке предшествовали джентльменские заигрывания с мэтром, которые не дали результата.

Через несколько лет, после исторического (или истерического) V Съезда Союза кинематографистов, встретившись случайно, он пожал мне руку:

– Мало вы их давили. С врагами надо было, как с врагами

А я никого не давил. Я пытался добиться правды в насквозь лживой среде. Заряд идеализма, полученный мной в юности, еще не иссяк. Мне все еще светило солнце свободы. Я не понимал, что служба свела меня напрямую с враждебными силами и борьба идет не на жизнь, а на смерть, хотя прямые попытки ревизии истории и наскоки на коммунистическую партию были немногочисленными, а критика современной жизни с ее бюрократическими захлестами справедливой.

Кстати, адресуясь ко мне как к символу власти, Сергей Федорович был не прав. Ни у кого из руководителей Госкино не было монополии на власть, никто, в том числе и я, не мог сказать: «разрешаю» или «запрещаю». Все решалось коллективно. Наиболее сложные вопросы вносились на заседание коллегии Госкино, большую половину которой составляли творческие работники – режиссеры, киноведы, критики. Принципиальные проблемы решали на совместных заседаниях коллегии и секретариата Союза кинематографистов.

Испытание огнем пришлось выдержать мне в связи с приемкой картины Алексея Германа «Операция „С Новым годом“». Еще задолго до того, как привезли ее в Москву, в отдел ЦК пришла информация из Ленинградского обкома, что на «Ленфильме» создана картина, возводящая клевету на партизанское движение. Восстали и бывшие партизаны-ленинградцы, кто-то поспешил предъявить не принятую работу общественности. Общественность ожидала увидеть на экране героическую эпопею, а получили забытовленный рассказ о буднях одного отряда. Их протест также незамедлительно ушел в Москву. Ни одну из этих бумаг я не видел, но получил указание – вернуть картину на переделку: «Пусть ленинградцы сначала сами во всем разберутся».

Режиссер Герман проявил себя талантливым и взыскательным художником, партизанская жизнь была воспроизведена с предельной достоверностью, выразительно и эмоционально. Но главный акцент ленты сместился на конфликт между партизаном – офицером, вышедшим из немецкого окружения, и представителем НКВД в отряде, не доверявшим «окруженцу». При всей талантливо разыгранной драме конфликт был фальшивым. Автор не знал реалий партизанской жизни. Отряды комплектовались не только из патриотов-добровольцев. В них было немало «зятьков» – так называли пристроившихся к деревенским бабам «окруженцев», солдат и офицеров, ушедших из плена, перебежчиков-«полицаев», попавших на службу к немцам под давлением обстоятельств или по недомыслию. Мобилизовали всех, способных носить оружие. И людей проверяли не засланные из Москвы чекисты-изуверы, как это изобразили авторы фильма, – проверял бой. Чекист, если таковой попадался в отряде, выполнял свою задачу по контрразведке или сообщению разведанных на «большую землю». И, конечно, никогда не лез в дела

командования. Командир отряда был, как говорилось встарь, «и царь, и бог, и воинский начальник». А если кто-то лез в его дела, то или уходил, откуда пришел, или жил до первого боя. Мне думается, что Германа увела в сторону от реалий партизанской жизни ненависть к чекистам, которые якобы творили суд и расправы не только на советской территории, но даже в партизанских отрядах.

Я выполнил данную мне команду и нажил в лице Германа врага на всю жизнь. Следующая работа Германа «Двадцать дней без войны» – и опять большая творческая удача, и снова донос, на сей раз оставленный без внимания. Новая картина «Мой друг Иван Лапшин» – еще одна атака «доброхотов» и снова звонок из Отдела. Посмотрев картину, я увидел, как отбить наветы, не уродуя ткань произведения. Одним коротким предисловием все происходящее на экране надо отослать в прошлое, мол, так запомнилось герою – и все претензии к режиссеру будут беспочвенны. Герман вроде бы согласился, но представил вторично прежний вариант. Я заявил:

– Поступай, как знаешь. Акт хоть сейчас подпишу, но, даю голову на отсечение, картина ляжет на полку. Поверь, я знаю, как ее примут наверху, – и отказался вести бесплодное обсуждение.

Поправка возымела свое действие, картина прошла дальнейший путь без сучка и задоринки. Помню ночной звонок ко мне на квартиру взволнованного Германа со словами благодарности. Кстати, «Операция „С Новым годом“» после доделок вышла через несколько лет на экран с некоторыми редакционными поправками и новым названием – «Проверка на дорогах». Но я приобрел в лице Германа врага на последующие 30 лет. А я и есть враг попыток фальсификации нашей истории.

Очередной атаке была подвергнута изумительная по своей доброте и пониманию детской психологии картина Динары Асановой и Валерия Приемыхова «Пацаны». Я ставлю имя актера рядом с именем режиссера, ибо убежден, что поразительный по достоверности и обаянию образ, созданный Валерием в этой картине, сам по себе – явление искусства. На этот раз приходилось отбивать атаки не только местных критиков, но и Министерства просвещения, МВД и ЦК ВЛКСМ...

Единые в своем отрицании государственного контроля творческие работники внутри цеха держались поособку, в лучшем случае были равнодушны к судьбе товарищей, удачливым завидовали, с иными враждовали. Острый на язык Александр Довженко говорил:

– Что такое кинематограф? Это, когда лежит великая куча грошей, а кругом, побравшись под ручки, стоит круг людей, и если меж ними втискивался еще человек, все делали шаг назад, отступая от той кучи. А кто ж себе враг?

Трудно складывалась судьба талантливейшего писателя, режиссера, актера Василия Шукшина. Право на каждую постановку ему приходилось пробивать через неприязнь коллег. Сценарий «Степана Разина» буквально замотали, перекидывая 3–4 года от сценарной коллегии студии до художественного совета, потом, с рядом оговорок, сделали пас в сценарную коллегию Госкино. Но кто же возьмет на себя риск запустить картину, если студия считает сценарий не готовым? Надо посоветоваться в Отделе, а Отдел уже был проинформирован, что вместо всенародной классовой борьбы в сценарии одна кровавая резня и пьянка. Нет уж, вы там разберитесь сами...

Василий Шукшин принес мне порядком затертый экземпляр с просьбой:

– Гляньте свежим глазом.

Я для начала запросил из библиотеки летописи по разинскому восстанию. Прислали два увесистых тома энциклопедического формата. Составляли бумаги далеко не борцы за счастье народное, и потому кровь с них стекала рекой. Разговор с Василием Макаровичем был немногословным. Он вошел в кабинет своим характерным пружинящим шагом, одетый, по обыкновению, в джинсы, хромовые сапоги и кожанку, настороженный и замкнутый. Я понял, хитрить с этим человеком нельзя, и сказал прямо:

– Вы идете вслед за недругами Разина, в летописях даже меньше крови. Вот возьмем

резню боярских детей в Царицыне – сколько их было побито?.. А у вас?.. Пили разинцы и матюкались? Не ангелы были, озверевшие от нужды мужики. Но нельзя же всадить все богатство русского фольклора в один сценарий. Талантливо написано до головокружения! Однако не хватает исторического масштаба. С чего так перетрусил не слабый царь Алексей Михайлович? Неужто убоился банды пьяниц?..

Василий Макарович уважительно крутнул головой:

– Подготовился, начальник! Да я исторический масштаб так изображу, что мурашки по спине побегут. И не словами, и не тысячными побоищами. Я придумал сцену, где сведу царя и Разина, и Стенька, как глянет на царя, одним взглядом вобьет Тишайшего по колени в землю! – И Василий Макарович показал, как Стенька вобьет царя взглядом по колени в землю...

И пошел у нас разговор, что называется, конструктивный. А завершился он совершенно неожиданно. Я предложил:

– Заканчивайте «Печки-лавочки», и начнем «Разина».

Нет, с «Разиным» я погожу. Мне еще над ним работать и работать, сам вижу. И еще один замысел имею... Только надо мне из того гадюшника на «Мосфильм» перебираться. Иначе, боюсь, подожгу...

– Кого?

– Студию имени великого пролетарского писателя товарища Горького. Засла шпана бездарная...

Следующую картину – «Калину красную» – он уже ставил на «Мосфильме», с талантливейшим оператором и единомышленником Анатолием Заболоцким. А вместо «шпаны» выросла фигура министра внутренних дел Щелокова, потребовавшего запретить фильм, который якобы лишает уголовников надежды зажить нормальной жизнью после освобождения. На это Шукшин ответил одной фразой:

– А у меня кино про то, что называется «береги честь смолоду».

Мы запустили «Разина» в предподготовительный период. Заболоцкий начал выбирать места съемок, а директор картины Шолохов договаривался о постройке флотилии стругов. Но в дело вмешался Сергей Бондарчук – он предложил Шукшину роль Петьки Лопихина в картине «Они сражались за Родину». Шукшин зашел ко мне по делам «Разина», и я ему сказал:

– Зачем ты согласился сниматься у Сергея Федоровича, ты сам, милостью Божией, режиссер, и тебя ждет постановка «Разина».

– Понимаешь, когда Шолохов писал Петьку Лопихина, он имел в виду меня, я должен это сыграть. А потом поставлю «Разина» и уйду из кино. Правда, есть еще один замысел – про нынешних молодых дармоедов, – и рассказал мне интереснейший замысел. – Я хочу умыть «золотую молодежь», которая предает своих отцов. Что такое предательство близких, испытал на своей шкуре. В лета молодые стал я знаменит и был при деньгах. Понятно, вокруг меня сплотились любители «халявы». Однажды я просыпаюсь после бурной ночи под столом и вижу перед собой две пары ног. Одна пара говорит другой: «Слышь, разбуди этого х... Ваську, надо похмелиться. А у него деньги есть». И подумал я: как же ты, Василий Макарович, опустился до жизни свинской? Выбрался я из-под стола и раскатил «друзей» на все четыре колеса... И пить бросил. А накипь в душе против племени захребетников осталась навсегда. Ох, и подпущу им яду!

Увы, это была наша последняя встреча. В экспедиции на Волге у него остановилось сердце. Озвучивать Петьку пришлось другому актеру.

Трудно сказать, что сильнее сказывалось на судьбе режиссера – хула или хвала. Я не знал Андрея Тарковского до того, как чиновные эстеты затеяли сломавшую его возню вокруг «Андрея Рублева». Ну и чего они добились? Поддержки нескольких официальных критиков и пенсионеров, обвинявших режиссера в жестоком отношении к лошадям и коровам, да якобы искаженном представлении о Руси, населенной диким народом. А что – может,

русские земли в XIV–XV веках были населены сплошь гуманистами и правозащитниками? Но, пытаясь унизить мастера, они добились только того, что в глазах интеллигенции Тарковский стал мучеником, а страдальцам на Руси всегда поклонялись. И при моих трех или четырех встречах Андрей Арсеньевич держался подчеркнуто отчужденно, был не то что застегнут на все пуговицы, а зашит наглухо, не вступая в контакт. Иным я его не видел. Только однажды, когда для съемок «Зеркала» понадобились дополнительные деньги, и мы разговаривали один на один, он на мгновение приоткрылся, зацепив каким-то краем Америку:

– А вот Коппола, поставив «Апокалипсис», получил гонорар, за который купил гостиницу...

– У нас, Андрей Арсеньевич, другая социальная система, и гостиницы не продаются. А ваши работы всегда оплачиваются по самой высшей ставке, существующей у нас.

Он впервые поднял на меня глаза и проговорил своим сухим и жестковатым голосом:

– Значит, у нас плохая система...

На том и расстались. Денег на постановку я добавил. О второй встрече наедине, когда я сделал безуспешную попытку пробить панцирь, в который заковал себя великий режиссер, я писал выше. Работать с ним было чрезвычайно трудно. Малейшее замечание, сделанное по его сценарию или фильму, вызывало бурю возмущения кинематографической общественности, и не только у нас. Я принимал участие в обсуждении трех сценариев Тарковского – «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». Один из эпизодов «Зеркала» считал фальшивым. Речь идет о мальчишке – пацифисте, отказавшемся в школе на военных занятиях взять в руки оружие. Даже при всей условности некоторых ситуаций сюжета этот мотив был надуманным, притянутым из современности. Я отвоёвался, едва выйдя из мальчишеского возраста, и хорошо знал ребячью психологию времен Отечественной войны. Пацана, который не захотел взять в руки винтовку, когда каждый мечтал убить фашиста, другие пацаны объявили бы фашистом, и его жизнь среди сверстников стала бы невыносимой. В глухом российском городишке могли и прибить. Мою претензию Андрей отверг:

– Я так вижу своего героя.

С правом художника видеть мир по-своему, не поспоришь. Я отделался репликой:

– Ваше право, конечно, но я привык верить всему, что происходит в ваших фильмах, тем более что жизнь в них до волшебства достоверна.

И это не было комплиментом, Андрей Тарковский был поистине гениальным режиссером. Поражало его умение сопоставить несопоставимое, найти красоту и поэзию в самых неприглядных деталях быта, создать неуловимое настроение. Все в кадре жило, дышало, находилось в движении. Он был сугубо национальным художником, способным выразить на экране богатство и глубину славянской души. Его картины – подлинная школа мастерства для создателей фильмов. И при этом он жил в собственном замкнутом мире, демонстрировал пренебрежение к публике и порой мог сказать, глядя в зал:

– А вы посмотрите на себя. Разве вы в состоянии понять мой фильм?

И постоянно брюзжал, и насакивал на прокатчиков, почему его фильмы выпускаются малыми тиражами, видел в этом козни «начальства». Но что поделать, картины его были сложны для восприятия, тем более что в подавляющем большинстве наших кинотеатров освещенность экрана, качество звука, уровень благоустройства, акустика залов были далеки от эталонных. Выстрадавшая режиссером прозрачность и тонкость изображения, духовная глубина и неуловимое обаяние каждого кадра пропадали, гений режиссера пасовал перед тупостью техники. И Тарковский становился все более раздражительным, совершенно невосприимчивым к критике, обожествлял собственное мнение. Помню трудное и нудное обсуждение сценария «Сталкера» в кабинете Ермаша. Даже при беглом прочтении бросались в глаза убогость философии, обилие общих мест и прописных политических истин, непомерная заговоренность и, если хотите, замусоренность диалога – не сценарий, а радиогазета. Мы с Сизовым в полемику не вступали, а главный редактор Даль Орлов и



Ермаш, взявшие на себя инициативу в беседе, понапрасну тратили слова. Тарковский был глух к увещаниям. В заключение беседы сообщил, что после «Соляриса»<sup>5</sup> хочет поехать на постановку фильма в Италию. Но, отсняв весь материал двухсерийного фильма, заявил, что вся пленка – брак. Стало ясно, что он ищет скандала. Я, по поручению Ермаша, отсмотрел почти семь тысяч метров не смонтированного материала и убедился, что претензии Тарковского безосновательны. Один из лучших операторов «Мосфильма» Георгий Рерберг снял фильм в соответствии с задачей, поставленной режиссером. Это была блестящая работа. Все действие происходило в предрассветный час, и как исхитрилась операторская группа воссоздать на пленке трепетный свет наступающего дня, выдержав заданную тональность на протяжении всей ленты, – это было чудо. В соответствии с установленным порядком режиссер лично принимал каждую партию пленки от лаборатории без единого замечания. Акты с его расписками хранились в лаборатории. Скорее всего, Андрею нужен был скандал. Но не получилось, было принято решение: дать возможность Тарковскому переснять *всю* картину. Выделили 500 тысяч рублей, пленку «кодак», которую мы делили чуть ли не по сантиметрам на особо сложные и важные съемки, заменили оператора. Рербергу объявили выговор – за что? – после чего он запил. Молодой талантливый оператор Саша Княжинский, знакомый мне еще по Минску, повторил художнический подвиг Рерберга, снял заново картину в заданной Тарковским манере. Я не пожалел времени и сравнил пленки Рерберга с пленками Княжинского. Оказалось, снято один к одному. Какой продюсер, в какой стране дал бы такую потачку капризу художника? Бондарчук, ставивший с итальянцами «Ватерлоо», хотел переснять один эпизод, на что получил ответ:

– Если хотите, за свой счет...

«Сталкер» нельзя отнести к удачам Тарковского. Дирекция Каннского фестиваля, заявившая его для участия еще до запуска в производство, отказалась поставить в конкурс, посмотрев только одну часть; французы, беспрекословно покупавшие все работы Андрея, эту картину не взяли, а их пресса обозвала ее «длинное русское кино»...

Тарковский уже написал для итальянцев сценарий «Ностальгия» и официально попросил дать ему отпуск для поездки в Италию. Ермаш имел с ним беседу и предложил ему экранизацию «Идиота» по Достоевскому, на что ранее претендовал Тарковский. Он поблагодарил и пообещал рассмотреть этот вопрос после работы в Италии. Но это было не больше, чем игра. Вскоре стало ясно, что в Россию режиссер не вернется. Из Рима пошли новые просьбы – оказалось, что требуется срочно прислать в Италию жену, потом ребенка, тещу... Желая прояснить ситуацию, в Рим приехал Сизов. Андрей отказался прийти для разговора в посольство, назначив встречу в кафе, и явился туда с охраной, непрерывно оглядывался. Похоже, с ним основательно поработали соответствующие специалисты, внушив, что директор студии собирается вместе с чекистскими агентами похитить его. Зная, что у прославленного режиссера дела на Западе идут неважно, его звали домой уже после падения ненавистой Советской власти, но он поставил условие: пусть об этом попросит его лично Горбачев... У Горбачева такого желания не возникло.

Я читал сценарий «Ностальгии» и был уверен, что на этом материале фильм не получится. А, впрочем, чем черт не шутит, гений есть гений. Но черт не пошутил. Я, много времени спустя, разговорился с Олегом Янковским, пытаюсь выяснить точку зрения его, исполнителя главной роли. О чем фильм, какую задачу он решал, работая в картине?

– А черт его знает. Говорит режиссер: иди туда, иди туда, а теперь туда... Вот и бродил то по грязи, то по воде, надоело до чертиков, – ответил Олег в своей ироничной манере, со смешинкой в глазу.

Возможно, отшучивался, но и у меня, когда смотрел картину, создалось впечатление, что и сам создатель фильма не очень четко продумал замысел.

---

<sup>5</sup> Так в оригинале. Похоже, что имеется ввиду фильм «Сталкер». – Примечание автора электронной версии.

«Ностальгия» не принесла ни славы режиссеру, ни денег продюсеру. А Тарковский за рубежом оказался никому не нужен, он интересен был как диссидент, не более того. Попользовались и выбросили. Кое-как насобирав денег еще на одну картину, Андрей окончил свои дни в более чем стесненных обстоятельствах. После похорон в могилу поверх какого-то эмигранта – полковника, у семьи денег не нашлось даже на памятную железку...

Так друзья «залюбили» Тарковского. Первый толчок к обожествлению сделали власти предрекающие, создав из него мученика, а потом за дело взялись друзья и добились радениями во славу гения. И где-то меж ними – я убежден в этом – был недруг, внушивший Тарковскому, что всюду он сможет развернуться только на Западе. А чего ему не хватало в Советском Союзе? Разве что собственной гостиницы, потому что все свои замыслы он осуществил, и так, как хотел, поставил все, что собирался, и ждала его давно желанная работа по Достоевскому. А что приходилось выслушивать замечания по сценариям или по материалу в ходе съемок, то кто из режиссеров прошел иным путем? В принципе, кого любой продюсер пускает в бесконтрольное плавание? Кинопроизводство – это деньги, а деньги, как известно, любят счет. Потерпели крах внушенные друзьями надежды, что за рубежом все курицы будут нести золотые яйца в его корзину.

Судьба Тарковского не исключение. Не сделал карьеры в Голливуде несравненно более деловой и разносторонний режиссер Андрон Михалков-Кончаловский. Потолкавшись за рубежом, он вернулся в Россию. Но, справедливости ради, следует признать, что он и не собирался осесть навеки вдали от родины. Помню один разговор, когда я спросил у него:

– Говорят, что ты собираешься за рубеж?

Он не стал хитрить или изворачиваться, ответил прямо:

– Хочется поработать там.

По крайней мере честный ответ, и я уважаю Андрона за это. Иные поступали по-другому. Был такой молодой, очень способный и симпатичный режиссер Миша Богин. Мы с ним познакомились в Минске, куда он приехал снимать фильм «Зоя». Картина получилась очень тонкой и нежной, окутанной дыханием мечтательности. Мне показался режиссер многообещающим. Встретились в Москве. До меня дошли слухи, что он нацелился в отъезд. И случилось так, что он зашел ко мне по поводу предстоящей работы – что-то не клеилось со сценарием. Помня доверительные прежние отношения, я спросил, правда ли то, о чем ходят слухи. Он ответил, что никуда уезжать не собирается, я удовлетворился ответом, сказав:

– Ну, и правильно. Ты там пропадешь, тебе и среди российских коллег с твоим деликатным характером протолкаться непросто. Если будут трудности, заходи, постараюсь помочь.

Через несколько дней он покинул Россию. Длинные языки донесли: нашлись друзья, запугали мальчишку.

Инфарктом завершилась зарубежная карьера великого режиссера и актера Сергея Бондарчука, у которого отобрали почти готовый фильм – многолетнюю мечту – «Тихий Дон». Не смог проторить дорогу, достойную таланта, Михаил Калик, открывший список эмигрантов. И дело не в отсутствии способностей или недостатке пробивной силы. И наши режиссеры, и наши фильмы не интересны и не понятны зарубежному зрителю.

Помню, ночью в Судане я смотрел в полуторатысячной аудитории «Неуловимых мстителей». Эдмонд Кеосаян сотворил картину по законам вестерна, столь любимого невзыскательной аудиторией во всем мире. Я сидел и радовался: где надо, смеются, где надо, аплодируют. Успех! А уж когда заиграли по окончании картины советский гимн, и все встали, гордости моей не было предела. Африка завоевана! Нас обступили зрители, жали руки, светились улыбками, мы тоже скалили зубы. И надо же, нашелся умник – он обязательно найдется, хоть на Чукотке, хоть на экваторе, – который подбросит заковыристый вопросец. Нашелся и тут, охладивший мой пыл:

– А почему белые воевали против белых?

В американском вестерне все ясно: любовь и деньги, а тут из-за чего суматоха?.. Или,

скажем, разъясни голландскому фермеру или американскому гуртоправу, с какого такого горя бесится Федя Протасов или чеховский дядя Ваня? Этого не поймут и в Индии, как в Эстонии не поймут индийского кино, которое считается непременным десертом на престижной узбекской свадьбе. А поймут ли в Эстонии поэтику узбекской картины «Человек уходит за птицами», поставленную веселым шалопаем и тонким художником Али Хамраевым? Я очень люблю грузинский кинематограф. Почти каждая постановка на студии «Грузия-фильм» была событием в культурной жизни не только республики, но и всего советского кино. Работы грузинских мастеров отличались высоким профессионализмом, зрелостью художественного замысла, разнообразием образов и, главное, любовью к своему народу. Даже небритых, обряженных в ветхие одежды, порой наивно-простоватых или хитрых, хвастливых – всех их любили режиссеры, ведя по жизни доброй рукой. Это, скажем, характерно было и для творчества Василия Шукшина, влюбленного в деревенских «чудаков» и вралей. Даже к рецидивисту Егору Прокудину из «Калины красной», навек повязанному воровским законом, проникаешься симпатией, ибо тебе открывается истерзанная жизнью душа, взыскующая добра и правды. Истинно русский характер... Подлинным открытием не только для нашего, но и для мирового кинематографа стали немногочисленные работы туркменского режиссера Ходжакули Нарлиева. Немногословные и неторопливые герои его лент несут бремя жизни под гнетом тяжкого бытия и вековых традиций, не открывая чужому глазу ни радостей, ни горя. Об этом знает только безбрежная пустыня с ее оглушающей тишиной. Автор разговаривает со зрителем душевно и словно бы вполголоса. Завораживали бешеные ритмы, буйство красок, необузданные страсти в лентах молдавского режиссера Эмиля Лотяну. Беспощадный психологический анализ, непримиримость социальных страстей и бесцеремонность отношений принес в своей выдающейся работе «Никто не хотел умирать» удивительно одаренный литовец, один из крупнейших советских режиссеров Витас Желакавичус. Скупыми словами и кадрами, неторопливыми ритмами рассказывали о судьбе своего народа эстонец Калье Кийск и его коллеги. Таджикского режиссера Бориса Кимягарова увлек народный эпос. Талантливым самородком заявил о себе работой «Небо нашего детства» выходец из киргизского аула Толемуш Океев. Не деликатничая и не уклоняясь от жестокой правды жизни, он живописал судьбу своих земляков, мощная, я бы сказал – мужицкая – рука, лепила образы крестьян, ничего не утаивая, ничего не приукрашивая. Совсем другой художественный почерк был у выходца из интеллигентской среды, его земляка, Болота Шамшиева, его влекла западная школа кино, боевики. Узбекские режиссеры Хамил Ярматов и Латиф Файзиев осваивали историю своего народа и становление современного государства. Лукаво прищурив глаз, Латиф говорил: «Я очень талантливый режиссер, только сильно-сильно скромный». Этот лукавый прищур был и в его работах. Ряд ярких лент выдали на экран армянские режиссеры Фрунзе Довлатян и Генрих Малян, также осваивающие историю и современность.

От нас, работников Госкино, требовался максимум чуткости, чтобы верно оценить национальную самобытность кинолент, поддержать поистине народное, драгоценное зерно представляемых студиями работ. Кинематографические моды менялись подобно изыскам кутюрье. Одно за другим возникали и исчезали увлечения поэтическим кинематографом, авторским и режиссерским кино; захлестывал поток сознания; новая волна накрывала неореализм; объявлялся вне закона жанр; приговаривались к изгнанию остросюжетные фильмы: объявлялась глупой комедия; изгонялись из кинолент красавицы («главное – красота души»), в моду входило отрицательное обаяние. С губ не сходили имена Феллини и Антониони, властителями дум становились Годар, Бунюэль. И все это без разбора втискивалось в работы молодых работников национального кино, превращаясь в поток серых и бездарных картин.

Помочь разобраться в разноголосице мнений, научить режиссеров, особенно молодых, отличать подлинное искусство от модных поделок, могла бы кинокритика. Но, упиваясь исследованием творческого процесса западных мастеров, наши эксперты, в лучшем случае, не замечали достижений отечественного искусства или вели дружный отстрел вполне

достойных работ. Наше кино объявлялось провинциальным, конформистским, примитивным. Вроде бы затаились в шалаше охотники и ждут, пока со студии вылетит очередная птица, чтобы тут же открыть пальбу, и если не убить, то хотя бы подранить ее бекасинником. Медали за заслуги перед музой экрана выдавались избирательно, в основном ценилось, ежели режиссер, ставя фильм, держал кукиш в кармане.

С отеческой снисходительностью встречались работы великого и неповторимого комедиографа Леонида Гайдая. Любимая народом комедия была признана жанром, недостойным серьезного критического разбора и одобрения. Клепает безродный выходец из глубин каторжной Сибири веселые пустячки, ну и бог с ним. А боги искусства и вели его по дороге всенародной любви и славы. Сотни картин канули в Лету, а «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница», «Операция Ы» полвека живут, не старея, и непременно возникают в праздничной программе телевидения, как подарок народу.

Сколько помню, ни один из критиков не сказал доброго слова о картине Ивана Пырьева «Кубанские казаки», которой приклеили ярлык «лакировочного фильма», «показухи» о жизни колхозной деревни. Удивительная солидарность критиков со Сталиным, который прихлопнул оперу на сюжет из колхозной жизни в Большом театре со сходной формулировкой. Но кто сказал, что Пырьев ставил перед собой задачу создать реалистическое произведение, в духе «Председателя» или «Аси Клячиной»? Это была откровенная музыкальная комедия, пожалуй, первая попытка создать советский мюзикл. Я, кстати, в 1944 году лечился в Кисловодске и помню цветистую роскошь пятигорских ярмарок. Слепленные классовой непримиримостью ястребы пера неутомимо клевали выдающегося режиссера. К эстетическому анализу это не имело никакого отношения, велись чистой воды политические разборки, направленные на уничтожение неистового Ивана. В ход пускались грязные измышления, газетные фельетоны. Мне часто вспоминается трагическая судьба Павлика Морозова. Она известна: простодушный мальчик, которому в школе внушили, что прятать зерно от советской власти преступно, разоблачил мужиков, утаивших хлеб. В числе их был и его отец. «Прогрессивная» писательская общественность обвинила Павлика в тягчайшем грехе – предательстве отца. И это повторялось из года в год, с завидным постоянством, по поводу и без повода. При этом «гуманисты» как-то забывали, что взрослые и будучи в своем уме дядьки зарезали и Павлика и его младшего брата. Не он совершил кровавое преступление, а они, но анафеме предали имя доверчивого и честного ребенка.

Порой казалось, что руку некоторых критиков ведет недобрый замысел, враждебный народу. На каждой студии были таланты и выращивались подлинные жемчужины искусства, но критика вожделенно глядела на Запад. Я думаю, что наивысшим завоеванием культурной политики советской власти было создание в каждой республике собственной киноиндустрии. Вокруг киностудий формировалась культурная среда – писатели, актеры, режиссеры, художники, кинооператоры, мастера грима и т.д. А о существовании некоторых республик мир узнавал только благодаря национальному кино. Потеря национальных кинематографий в связи с падением Советского Союза – наиболее тяжелая и невосполнимая утрата. Говорят, что отец всех туркмен даже землю запахал, где стояли цеха студии. Проверить, так ли, нет ли, невозможно – Туркмения превращена в закрытую зону. Прежде хотели уволить талантливого режиссера Нарлиева (о чем будет речь ниже), теперь уволили кинематограф.

Партийные органы на местах когда-то по-разному относились к молодому, но настырному дитяти. Чаще всего ограничивались просьбой:

– Вы, ребята, накрутите там что-нибудь про успехи в животноводстве. Надо, понимаешь, мобилизовать народ...

Но были и другие, про которых народ говорит: минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь, ибо от любви до ненависти – один шаг. Клокочущим вулканом, пылая яростью, ворвался ко мне Эмиль Лотяну и прямо с порога закричал:

– Нет, не удастся ему меня выгнать из Советского Союза! Дудки! Уеду на строительство БАМа редактором многотиражки, но не поддамся! Не покину Россию!.. Еще

чего захотел! Думает, что он царь и Бог! Дерьмо! Ничтожество...

Мне стоило немалого труда успокоить Лотяну и выслушать историю. Не берусь судить, что в ней правда, что преувеличение, потому что Лотяну не умел быть спокойным и ровным. Кое-как мне удалось вывести, что он крепко разругался с первым секретарем ЦК Молдавии Иваном Бодюлом на почве «аморального поведения» (цитата). Образ жизни горячего и неумного поэта, эмигрировавшего к нам из Румынии, думаю, был далек от монашеского. Тем более что мир кино – это мир сплетен. Но что же такого он мог натворить, что ему, доселе уважаемому в республике человеку, пригрозили репатриацией. Автор ряда интересных работ о жизни молдавского народа, лауреат международных конкурсов, член КПСС, не имевший «отклонений от линии партии», заслуженный деятель искусств Молдавской Республики, так сказать, «особа, приближенная к императору»... Я не считал нужным проводить расследования, тем более что случай с Лотяну не первый. В 1969 году покинул республику заслуженный деятель искусств, депутат Верховного совета республики, режиссер редкого поэтического дарования Вадим Дербенев. Надо ли говорить, что любители «клубнички» всегда охотно копаются в быту артистов. Сколько раз ко мне приставали знакомые, выведывая, кто с кем развелся, кто на ком женился, кто с кем спит. Я никогда не интересовался этим и твердо придерживался убеждения, что и актер, и режиссер имеют право на личную жизнь, и нечего совать в нее свиное рыло. А среди врачей, учителей, работников госаппарата мало блуда? Дербенев благополучно жил и работал на «Мосфильме», ставил музыкальные и приключенческие ленты.

Кое-как поуспокоив Лотяну, я расспросил о дальнейших планах. Вместо долгого рассказа он выложил сценарий на основе ранних произведений Горького «Табор уходит в небо» – яркое романтическое действо, сшибку страстей. Как не хватало нашему кинематографу зрелищного, увлекательного кино! Я тут же связался с директором «Мосфильма». Признаться, Николай Трофимович не с большой охотой взял его на постановку фильма. Его можно было понять – свои незанятые режиссеры в очередь стоят, а этому надо будет организовать прописку, жилье... Но, прочитав сценарий, позвонил и коротко доложил:

– Беру в штат.

И мы не ошиблись: в положенное время Лотяну выдал блестящую работу, темпераментное и яркое зрелище, подобных которому прежде не было. Не саморекламы ради, а следуя правде, замечу, что я услышал от него в свой адрес слова благодарности, случай достаточно редкий. Потом еще были «Мой ласковый и нежный зверь», «Анна Павлова», за которую вместо благодарности получил от Лотяну злой укор – я осмелился сказать, что лента затянута, а Гале Беляевой, жене режиссера, милой актрисе, но давно уже отошедшей от балетного тренажа, не хватает легкости:

– Все вы, бюрократы, одинаковы.

Впрочем, эта в горячке брошенная фраза не помешала нашим добрым отношениям. Художники – большие и невоспитанные дети. Печально писать, но как раз сейчас, когда я работаю над этим эпизодом воспоминаний, пришла трагическая весть – умер Лотяну, последний романтик и поэт российского кино.

В травлю туркменского режиссера Ходжакули Нарлиева включилось все руководство республики. Он допустил страшный грех – разошелся с женой и женился на другой. Вообще-то мусульманину не в укор иметь и четырех жен, но, оказывается, жена жене рознь, как и мусульманин мусульманину. Ходжа посягнул на Майю Аймедову, народную артистку, секретаря партийной организации драмтеатра, а она осмелилась бросить номенклатурного мужа, племянника президента республики. В защиту поруганной чести бедняги вступилась вся правящая верхушка. Попробовали налететь на Майю, но сорвалось – в защиту встала парторганизация театра, даже выговора не объявили. Переключились на Ходжу и решили наказать жесточайше – исключить из членов профсоюза. Следом, видимо, должно было произойти увольнение с работы, как не члена профсоюза. Карательную кампанию возглавил второй секретарь ЦК товарищ Чаплин (извиняюсь, имя-отчество запомнил, общались

сугубо официально). Я позвонил ему и сказал:

– Не смешите народ, про вас пойдут анекдоты по всей стране. И уже в порядке совета – надо ли вам, русскому человеку, лезть в сугубо национальное дело. Вам, вероятно известно, что правоверный мусульманин может иметь столько жен, сколько захочет... Знаете ли вы, что Нарлиев – один из выдающихся режиссеров с мировым именем?

Увещевание подействовало, Нарлиева оставили в покое, хотя до максимума ужесточили цензурный контроль над его сценариями и фильмами. Судьба – озорница. Через несколько лет я поехал с официальным визитом в Алжир. Советский посол, принимая меня, сердечно приветствовал и благодарил:

– Помощь нашего кинематографа в налаживании контактов с населением неоценима. Особенно с женщинами. Большинство из них неграмотны, им строжайше запрещено появляться в публичных местах, даже в кинотеатрах. Единственное, что позволено – телевизор. Недавно показали туркменскую картину «Невестка». Она одна сделала для популярности Советского Союза и гуманизации замкнутого мусульманского общества в десятки раз больше, чем все наши пропагандистские акции.

Я не удержался и бестактно спросил:

– А вы не работали вторым секретарем ЦК в Таджикистане?

– Работал.

– И, наверное, помните, как я вам звонил, просил не исключать из профсоюза режиссера Нарлиева? Это он поставил «Невестку».

Посол стал красным послом и растерянно сказал:

– То-то, узнав, что мне предстоит принять главу делегации Госкино Павленка, вспоминал, где мы пересекались... Так это вы тот Павленок?

– Ага. А это вы тот Чаплин?

Дипломат не был бы дипломатом, не солгав: он все прекрасно помнил, тем более что фамилии у нас были редкие. А вот партийные и советские работники люди более открытые. Помню, как на приеме во время Всесоюзного кинофестиваля в Ашхабаде (фестивали проводились по очереди во всех республиках) меня вдали от шума прижали в углу две робкие маленькие женщины – секретарь ЦК по идеологии и заместитель председателя Совмина по культуре – и растерянно спросили:

– А что, Нарлиев действительно талантливый режиссер? Я не удержался от мелкой подлости, хотя и жалковато было таких робких и беспомощных женщин Востока:

– Его фильмы обошли весь мир, и теперь за рубежом знают, что есть страна Туркмения, где творит такой мирового класса режиссер.

В Киеве велась кампания по искоренению неповторимого в своей талантливости и обаянии актера и режиссера Леонида Быкова. Его вина была в том, что он не скрывал своих симпатий к русской кинематографии и снимал фильмы, нарушая кодекс киностудии имени Довженко: украинское кино должно делаться только украинскими руками. И при этом слава его была превыше славы именитых украинских актеров, а фильмы выбивались из шеренги картин «студии Довженко» – это имя, как ни прискорбно, стало синонимом серости и уныния. А фильм «В бой идут одни старики», поставленный Леонидом Быковым, стал одним из лучших лирических фильмов о Великой Отечественной войне, наряду с «Судьбой человека» Бондарчука и «Торпедоносцами» Арановича. Но «в своем отечестве талантов быть не может», и Леонид собирался покинуть Киев. «Мосфильм» уже готовил квартиру в Москве, но, увы, смерть подстерегла его за рулем автомобиля – он ехал на интервью к моей дочери Юлии для «Советского экрана». Быкова затирали не только круги официальные, но и творческая среда – кто же простит феноменальный успех коллеге?

Это было странно и непонятно. Выступая корпоративно против всякого рода руководства, многие «творцы» в большинстве своем руководствовались принципом «человек человеку друг, товарищ и волк». Просто нагадить человеку, и то было в удовольствие. Я не встречал более жестоких и мстительных людей, чем профессиональные гуманисты, будь то литераторы, художники, кинематографисты.

Звонит мне артист Иван Дыховичный:

– Борис Владимирович, говорят, вы против моего сценария.

– Какого сценария?

– Ну, того, что я хочу ставить в объединении «Дебют».

– И знать не знаю, и ведать не ведаю, что вы собираетесь снимать в «Дебюте». А сценарий не читал и читать не буду. Мы объединение создали для того, чтобы молодой художник снимал что хочет и как хочет, и не то, что велит начальство. Генеральный директор студии не имеет права вмешиваться в творческий процесс. Мы просто хотим узнать, что вы умеете. Решайте все с Мамиловым (руководитель объединения). Если место есть, ставьте картину, какую хотите. А кто распускает сплетни – с тем разберитесь по-мужски.

– Спасибо.

– На здоровье.

Кому понадобилось сталкивать нас лбами? Никаких отношений у меня с Иваном Дыховичным не было, я и в лицо его не знал. И кому хотели нагадить – мне, ему? Скорее всего, мне. Я уже давно отлавливал мелкую, а то и крупную клевету в свой адрес, узнавал, что там-то и там-то я говорил то-то и то-то, а я там-то и не был и то-то не говорил.

А однажды гадость сделали откровенно. Мы принимали картину одного интересного режиссера – фамилию не стану называть, он сделал немало хорошего для кинематографа. Картина, как всегда, была яркая и интересная, и вдруг под финал дана нарезка кадров, по сути, повторяющая сюжет картины. Я удивился:

– Зачем вы это сделали? Бойтесь, что зритель не поймет? Фильм ясный, без загадок. Могу хоть сию минуту акт подписать, но лучше бы нарезку я убрал.

– Ладно, я подумаю.

Через какое-то время узнаю, что в Доме кино состоялась премьера, и после просмотра режиссера упрекнули: зачем, мол, нарезка, и так все ясно. Он, глазом не моргнув, соврал:

– Павленок заставил сделать...

Как говорят, придет коза до воза, и режиссер появился у меня в кабинете. Я, понятное дело, задал вопрос:

– Зачем вы в Доме кино меня оклеветали?

И он, опять же, глазом не моргнув и не покраснев даже, объяснил:

– Нарезку мне мастер присоветовал, и я не мог сказать об этом, чтоб не подводить мастера.

– Кто мастер?

– Юлий Яковлевич Райзман.

– Значит, мастера нельзя выставлять перед публикой дураком, а Павленка можно?

Он потупил глаза. И только. Даже не извинился.

Актерское братство ярко проявлялось в работе тарификационной комиссии, которую я возглавлял. Комиссия устанавливала ставки оплаты творческим работникам. Членами ее были наиболее авторитетные режиссеры, актеры, операторы. Назову лишь несколько имен: Сергей Бондарчук, Евгений Матвеев, Станислав Ростоцкий, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Герасимов, Всеволод Санаев, профессор ВГИКа Анатолий Головня, Лев Кулиджанов... Первоначальная тарификация проходила на студиях – в творческих секциях и студийных тарификационных комиссиях, потом материалы поступали в Госкино. Наиболее частые фильтры были на студиях – там каждый умел считать копейки в чужих карманах, кроме того, денно и нощно бдили экономические службы, зажимающие каждый рубль. Я относился к повышению ставок более либерально. Во-первых, творцы получали зарплату только во время работы над фильмом и, бывало, месяцами и годами находились в простое. Во-вторых, ставки были, в общем-то, мизерными. Самыми обездоленными являлись актеры – всегда на выданье, всегда в ожидании, возьмут ли на роль? Однажды некая, скажем, Марьяванна из Министерства финансов, пытаясь урезать нам ассигнования, упрекнула: транжирите деньги на зарплату – Бондарчук, мол, вон сколько получил за последнюю

картину, а я горбачусь те же восемь часов за сто сорок рублей. Но Бондарчук, возражаю ей, один в трех лицах – сценарист, режиссер, актер. Если вы способны выступить в трех лицах – милости просим на студию, будете зарабатывать, как Бондарчук. Только учтите, что находясь в простое, не получите ни копейки. Но Марьяванна была непреклонна. Тогда я попросил студию дать официальный расчет заработка Сергея Федоровича за последние пять лет, и вышла среднемесячная зарплата 130 рублей, даже на сотню меньше, чем у Марьяванны.

Потому-то я и либеральничал на тарификации. А вот коллеги по творчеству проявляли непомерное рвение, особенно, когда дело доходило до высших ставок. Секретарь комиссии, как пономарь, зачитывал список, я спрашивал:

– Кто за?.. Дальше...

И вдруг один из маститых взрывал тишину:

– Постой, постой... Это что ж, он будет получать столько за съемочный день, как и я? Нет, нет, слишком жирно будет!

И начинались прения. Но они-то не знали, что протокол протоколом, а потом еще будет приказ министра, и в его воле было шагнуть за пределы протокола, тем более что в этом вопросе он был солидарен со мной.

Вспоминая прошлое, я останавливаюсь больше на конфликтах, где ярче всего отражается характер моей работы. С 1963 по 1986 год – более двух десятилетий между молотом и наковальней, где наковальня – это монолит творческой среды, не терпящей перста указующего, а молот – тот самый перст, а то и кулак: «Не пущать!» Мы чаще всего не знали персоны, которая обрушивала гнев на нерадивых киношников, нам просто сообщали: «Есть мнение». И точка. Ермаш знал больше меня, потому что за долгие годы работы в ЦК обзавелся друзьями и иной раз мог вывести картину из-под удара, но это удавалось не всегда.

Элем Климов, на мой взгляд, снял очень хороший фильм «Агония», но он был на грани «проходимости» – слишком яркое и необычное зрелище, а новизны начальство боялось, «как бы чего не вышло». Предвидя это, мы подкрепились ленинской цитатой в эпиграфе, оценивающей Распутина и распутинщину. Казалось, сделали все чтобы, обезопасить картину, тем более что она пошла нарасхват по «спецточкам» – некоторые заказывали по два раза. И вдруг, как в детективном фильме: «Есть мнение»... Говорят, что возникло оно на заседании Совета министров, и высказал его сам Косыгин. Ермаш, действуя окольными путями, пытался вызнать, что конкретно имело в виду «мнение». Поправив кое-что, написали записку в секретариат ЦК с просьбой снять «табу». Отказ. Еще и еще раз смотрели вместе с режиссером, отыскивая, где жмет, подрезали наиболее шокирующие сцены разгула Гришки, и вторая бумага ушла на Старую площадь. Опять отказ. Ермаш вызвал меня:

– Готовь еще одну записку.

– Ты с ума сошел.

Я знал, от чего предостерегал. Существовал негласный номенклатурный кодекс: если министр, дважды входивший с запиской в ЦК, настаивал на своем, значит либо дурак, либо не согласен с позицией Центрального Комитета. В обоих случаях надо поставить его на место. Но на другое. А, может быть, и отправить на свободно-выгульное содержание (это был прогрессивный метод содержания скота).

Филипп хитро прищурился:

– А давай стрельнем из ружья с кривым дулом, так сказать, из-за угла. Есть, мол, много валютных заказов на картину, и мы во внутренний прокат фильм выпускать не станем – зачем картинами разврата смущать советский народ, поможем догнывать гниющему капитализму.

Выстрел попал в точку, и прокатное удостоверение «Агония» получила. А спустя некоторое время мы, не входя ни с какими записками, договорились устно о выпуске картины в собственных кинотеатрах.



Были и другие случаи «административного воздействия». Например, мы так и не узнали, кто загнал «на полку» любопытную работу Глеба Панфилова «Тема».

В крайне неловкое положение поставил нас однажды Григорий Александров. Когда студия прислала взлелеянный им сценарий «Скворец и Лира», одобренный «наверху» – он тоже норовил общаться с нами через верхние этажи власти, – я провел разведку и понял: не отбиться. Именитый и прославленный режиссер уже потерял творческую потенцию, да и звезда Любви Орловой от возраста потускнела, а играть ей, 70-летней, предстояло 30-летнюю женщину. Если печать возраста на лице можно притушить гримом и операторскими ухищрениями, то «подмолодить» кисти рук невозможно, и на крупных планах придется поднимать чьи-то другие. Худо ли, бедно, но Александров предъявил к сдаче двухсерийный широкоформатный фильм. Споров по картине не было, потому что это был бесспорный провал. Ясно было одно: выпускать на экран нельзя. Представить ее зрителю означало зачеркнуть все, что было ранее сделано знаменитой звездной парой. Но и сказать прямо об этом Александрову было бы преступлением, он уже уходил в область абстрактного мышления. И все же достойный повод нашли. В картине шла речь о схватке нашей и американской разведок в Западной Германии. И консультант, отставной чекист, вспомнил, что у нас с американцами была договоренность не держать разведок на территории Западной Германии. Александрову сказали, что из опасения вызвать международный скандал мы не можем выпустить его последнее творение на экран. Он, по-моему, даже был горд, почувствовав свою причастность к большой политике.

Причастность к большой политике, так же как и близость к большому начальству, была не столь приятным делом, как мнилось наивному режиссеру. Много лет на «Мосфильме» изготовлялся сатирический киножурнал «Фитиль», детище его бессменного главного редактора Сергея Владимировича Михалкова. В чем, в чем, а в остроумии и бесстрашии Сергею Владимировичу отказать нельзя. В едкой, а подчас и веселой форме это цветное и широкоэкранное зрелище высмеивало бюрократизм и глупость, которые куда как изобильно произрастали на нашей благословенной земле. И те, кто становились героями «Фитиля», принимали свою незавидную роль безропотно. И все-таки находились смельчаки, пытавшиеся выйти на тропу войны. В стране были две зоны неприкасаемости – это Ставропольский и Краснодарский края, а в переводе на понятный язык, края курортные. Секретари этих обкомов были, так сказать, держателями контрольных пакетов путевок. Самые главные московские чины в услугах посредников не нуждались, их отдых хранили управления делами ЦК и Совмина, но у начальства хватало родни, которой тоже нужны были в отпуске и клизма (Ставрополье, Пятигорск) и море (Сочи, Краснодарский край). Вот и шли звонки из Москвы в Ставрополь (для «поносников», ревматиков и сердечников) и в Краснодар (для трудами истощенных любителей морской волны, коньяка и преферанса). А самых-самых и вообще сильно ответственных надо было встретить, приветить и время от времени устроить развлекаловку. Само собой разумеется, что держатели путевок, приезжая в столицу, любые двери открывали ногой. Однажды Михалков дерзнул поджечь «Фитиль» в Краснодарском крае, где царствовал в те поры всесильный Медунов. Поводом послужил развал рыбоводческих хозяйств. Не привыкший к критике Медунов пустил официальную «слезницу» по самому «верху». Ермаш в ту пору приболел, и на ковер потянули меня. А ковер тот состоял из представителей отделов парторганов, пропаганды и сельского хозяйства – целых три отдела ЦК! Заведующий отделом культуры Василий Филимонович Шауро, мой давний минский и нынешний московский шеф, дал справку по сути дела. И начались прения. Разумеется, у каждого нашлось чем попрекнуть кино. Потом выпустили меня. Я в правдивости фактов не сомневался – мудрый Михалков опирался на данные народного контроля. Памятуя, что краткость – сестра таланта, я был немногословен:

– Если у товарищей есть сомнения в достоверности материала, хотя объектив съемочной камеры не врет, потому и зовется объективом, мы завтра же вышлем на место новую съемочную группу и опубликуем материалы проверки в специальном выпуске «Фитиля».

Мое предложение товарищи дружно отвергли – дураку ясно, что разозленные киношники на этот раз копнут и поглубже, и пошире. Так и осталась жалоба Медунова без последствий. Кстати, через недолгое время его сняли с работы и едва прикрыли от суда.

Но бывали случаи и покруче. Американская телевизионная компания CNN обратилась с просьбой оказать ей производственные услуги в съемках фильма о молодом Петре. Поскольку это была валютная сделка, мы вошли с ходатайством и получили официальное постановление секретариата ЦК. Заказ был выгодный. Местом для съемок выбрали Суздаль. На низком, пойменном берегу реки выстроили улицы Москвы XVII века – целый городок. С превеликими трудами добыли уникальный строительный кран, стянули целый автопарк, прибыла съемочная группа. От некоторых услуг киностудии имени Горького отказались, парики и костюмы делали в Италии. На первые съемки выехали в Казахстан. И слава богу, потому что из Владимира в ЦК прибыла «телега». Областной цензор сообщал, что не может разрешить съемку в Суздале, потому что американский сценарий искажает русскую историю. Кроме того, американцы разлагают советских людей, приданных к съемочной группе. Цензор был настолько осведомлен о деталях повседневной работы, что стало ясно: владимирские чекисты держат группу под колпаком. Мимо их внимания не прошел, скажем, факт, что наш художник «сожительствоет» с американской переводчицей. В связи с отсутствием Ермаша я предстал «на ковре» опять перед тремя отделами – культуры, международным, административных органов. Три замзава и один я. Для начала попытались устроить мне разнос, но я отбил его быстро: никто из вас в делах группы не разбирался, и потому выданный аванс я не принимаю. В разработке сценария принимал участие наш соавтор (кажется, Нагибин, точно не помню) и «развесистую клюкву» из американского текста мы убрали. Кстати, к владимирскому цензору за разрешением не ездили, откуда у него текст сценария? Видимо, местные чекисты взяли американцев в свою разработку. Кто их просил об этом? Заезжих гостей курировал центральный аппарат Лубянки. Но мои оппоненты продолжали давить – а не лучше ли прекратить затею, что мы не можем без этой сделки обойтись? Я пошел ва-банк:

– Вы-то можете, а мы нет. Есть постановление секретариата ЦК и, значит, его надо отменять. У нас оснований входить с этим вопросом на «верх» не имеется. Хотите, пишите записку сами, только обязательно укажите, кто нам возместит 6 миллионов долларов неустойки, которую мы обязаны будем выплатить партнерам при нарушении контракта? А о самовольстве владимирских «впередсмотрящих» я доложу Цвигуну (первому заместителю Андропова, шефа Лубянки).

Услышав о долларах, ребята молча переглянулись и сразу потускнели. Кроме того, чревато неприятностями было и обещание включить в дело Цвигуна, первого заместителя председателя КГБ, друга семьи Брежнева. Разговор быстренько свернули. Решено было, что я выеду на место и разберусь. Правильно говорят китайцы: лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. Маленький Суздаль был городом больших денег, в местной сберкассе хранили деньги 11 миллионеров, а сколько еще лежало по домам в стеклянных банках – этого никто не знал. Основным источником богатства были ранние огурцы, которые выращивались на «ничейных» пойменных землях, где мы строили «петровскую Москву». Инициатор похода против американцев, некий отставной полковник и патриот, тоже остался без огурцов. Первый секретарь обкома (фамилию не помню) принял меня величественно и сурово, категорически потребовав прекратить «эту безответственную затею». Но он, оказывается, не знал моих козырей. Я спорить не стал:

– Значит, вы настаиваете, чтобы я доложил ЦК, что мы по вашему настоянию отказываемся выполнить постановление секретариата?

– Какое постановление? – не понял он.

– Мы ведем работу по оказанию услуг американцам в соответствии с постановлением секретариата ЦК.

– Не знаю такого постановления.

– Значит, ваш аппарат работает плохо.

Он тут же вызвал заведующего особым сектором, и в течение двух минут нужная бумага легла на стол. Прочитав ее, он так глянул на пожилого канцеляриста, что у меня по спине мурашки побежали: уволит без пенсии, а то и без партбилета.

– И еще прошу, – продолжал я развивать успех, – поручите своим чекистам урезать язык сексоту. В бумаге, которая ушла в Москву, что ни строчка, то брехня. Американскую переводчицу обвинили в сожительстве с нашим художником, а она на девятом месяце беременности... До женщины дошло, и американская сторона требует официальных извинений от советской стороны и возмещения морального ущерба. У художника в семье неприятности... И чекисты свое получают за то, что влезли на территорию Цвигуна, ему доложено.

Уехал я, чувствуя себя победителем. Но рано торжествовал – исчезли две огромные фуры, которые везли из Казахстана парики и костюмы. «Огуречные» миллионеры, видимо, не унимались. Пришлось прибегнуть к помощи МВД. Обе машины появились на съемочной площадке через две недели в сопровождении машин с мигалками, нашли их в районе Владимира. Американцы точно знают, что время – деньги, и потому заново пошили костюмы и парики в Италии. Что было причиной задержки рейса, так и не дознались, водители молчали, как партизаны на допросе. Кто-то очень страшный замкнул им уста. Полагаю, суздальские «огуречники» – мол, возьмем этих московских зазнаек не мытьем, так катаньем. Однако весь материал был отнят, и мы расстались с американскими телевизионщиками по-доброму.

Я встречался с промашками всеильного МГБ еще в Минске. В соответствии с планом культурного обмена между Японией и СССР, один раз в год проводились показы японских фильмов у нас и наших в Японии. Устраивали это в разных городах. Приспела очередь Минска. Меня предупредили, что посол Торо Накагава хочет сам посетить столицу Белоруссии. Я, естественно, поставил в известность ЦК КПБ и согласовал дату. За три дня до намеченного срока в мой офис явились двое представителей японского посольства для разработки плана этого «чрезвычайно важного мероприятия». Один из прибывших откомендовался резидентом японской разведки в СССР. Он, вероятно, хотел освободить нас от лишней докуки. Надо же такому случиться, что заместитель управляющего конторой кинопроката жил долгие годы в Приморье и хорошо знал японский язык. Из переброски репликами между гостями он уловил, что ребята не прочь, как теперь говорят, оттянуться по полной. Уверен, что это была сознательная утечка информации – не может быть, что среди русских переговорщиков нет контрразведчика. Увы, такового не было, власти весь ответ возложили на меня. Оттянуться, так оттянуться. Чтобы не давать лишней работы «органам», я наказал моим хлопцам:

– Ни одной трезвой минуты гостям не давать. Чтобы вместо «доброго утра» и «доброй ночи» звучало одно: «будем здоровы».

Такой план вполне устраивал обе стороны, тем более что главный бухгалтер моего комитета Иван Шибистый обеспечивал финансирование. Спецслужбы до поры до времени не беспокоили меня. Наконец, в канун «мероприятия» позвонил главный хранитель безопасности республики генерал Петров и спросил:

– Слушай, где посол?

– В гостинице.

– Как в гостинице? Мои хлопцы встречали и на вокзале и в аэропорту, он не прибыл. Не могли же они просмотреть!

– А он прикатил из Москвы на своем «мерседесе».

Всегда вежливый и обходительный генерал покрыл своих московских коллег такими высокими словами – я их не слышал со времен десантной атаки. Но накладки продолжались. После показа фильма посол устроил прием, пригласив на него триста человек, и запросил списки приглашенных. Настала моя очередь консультироваться в компетентных органах.

– Никаких фамилий, кроме оглашаемых в открытой прессе, – заявили мне мидовцы.

– Но триста человек! Мне что, ворошить подшивки за пятьдесят лет?

– А ты дай тридцать-сорок фамилий и припиши: «С ним десять, пять, двенадцать человек». Так, как они делают у себя в Токио. Не забудь квоту для людей Петрова.

Мы с послом быстро прониклись взаимной симпатией, обменялись веселыми речами-тостами, и прием пошел на взлет. Люди Петрова обнаружили себя сразу: все поднимали бокалы и рюмки, а они стояли по стойке «смирно» по углам столов. Я подозвал начальника охраны и сказал:

– Дай команду своим расслабиться, а то слишком светятся.

Забегая вперед, отмечу: команда «расслабиться» была выполнена с усердием, и после приема бдящих выводили под ручки. Итак, прием шумел, а мои хлопцы перекинули из ресторана в кинокомитет часть даров японского МИДа, благо моя резиденция находилась за забором ресторана. Улучив момент, я увлек посла с супругой в кинозал, и мы провели время в семейном кругу с удовольствием и пользой. Просмотр видовых фильмов о Белоруссии перемежался тостами. Наконец, моя супруга шепнула:

– Смотри, у господина посла шея стала малиновой.

Может, довольно? А то кондрашка хватит, беды не оберешься...

Мы расстались, условившись дружить семьями. На завтра заверещал у меня правительственный телефон. Генерал Петров панически вопрошал:

– Куда девался посол?

– Вероятно, отсыпается. Мы после приема часа два смотрели фильмы у меня в комитете.

Генерал буркнул нечто невразумительно-грозное и отключился. Должен сказать, что, работая в Москве, я исправно получал от Торо Накагавы приглашения на все приемы и гостинцы к Новому году. Он звал меня в гости на его родину, но я предпочел обходиться отечественными друзьями. В 1970 году, когда мне пришлось побывать в Японии, у трапа самолета взмахом руки меня приветствовал один из старых знакомых, мой минский гость «Володя-сан» – сын главы дружественной нам фирмы «Японское море», японского разведчика в России с 1918 года господина Нагучи.

22 с лишним года, точнее – 8100 дней под высоким напряжением, без малого 2000 картин, а сценариев, наверное, в полтора раза более. Каждый день не похож на предыдущий. Каждый день новые люди, новые события, обсуждение новых проблем. Порой мне казалось, что я слышу скрип собственных мозгов. Закончен просмотр одного, а то и двух фильмов. Проведено обсуждение фильма, следом идет работа в задел – обсуждение сценария. И все это с участием авторов, а значит, с затратой нервной материи. Чаще всего разговор мирный, в стремлении понять друг друга, но чтобы он стал таковым, строишь его, подобно проводнику-горцу, ведущему группу над смертельным обрывом. Неосторожное слово, и порвана нить доверия, вспыхивает перестрелка взглядами, звучат напряженные, готовые сорваться в крик, голоса. Я никогда не обижался на авторов, воспринимающих любое замечание, как удар пули. Художник может состояться лишь тогда, когда он убежден, что написанное или снятое им есть истина в последней инстанции. Взрывы возникали нечасто, далеко не все творцы были «айсбергами», таившими свои намерения в темных глубинах сознания. Чаще полемику удавалось перевести в русло беседы, где стороны одинаково пытаются вылущить зерно истины. Но порой возникало желание снять взрывом внутренний натяг нервов, а нельзя. Лучше отделаться шуткой или оставить вопрос дозреть – со временем рассосется.

Конфликты вспыхивали по пустякам. Однажды на прием попросился замечательный комедиограф, режиссер Эльдар Рязанов. Я назначил время. И вдруг за час до встречи у меня заболела голова, да так, что света божьего не видно. Я – на машину и в поликлинику. Секретарю Раисе Кирилловне Позняковой сказал:

– Придет Рязанов, извинитесь, объясните причину. Может быть, на полчаса опоздаю.

Боже мой, какой он крик поднял, какими словами поносил меня, бегая по коридору.

Уехал, не дождавшись.

Вспоминаю добрым словом встречи со Львом Кулиджановым. Выдержанный, деликатный человек с тихим голосом, мягкий и участливый. До сих пор не могу понять, как он мог столько лет руководить Союзом кинематографистов, управлялся без окриков и нервного надрыва на съемочной площадке. Вероятно, весь обычно суетливый и порывистый состав «помогальщиков» покоряли мудрость и терпеливость Льва Александровича.

Частым гостем бывал у меня Сергей Апполинариевич Герасимов. Я глубоко уважал его прежде всего за «Тихий Дон». В этой выдающейся картине впервые была сказана правда о Гражданской войне. В отличие от многих режиссеров, рисующих ее двумя красками – белой («красные») и черной (враги), – он, на основе великой книги Шолохова, представил трагическую историю народу, в которой и у красных и у белых была своя правда, своя убежденность. В кровавой драме народа не было правых и виноватых. К этой позиции наше общество пришло лишь через много лет. Заходил ко мне Апполинариевич чаще всего не по своим делам, а с заботами о подопечных. А имя им было – легион. Будучи руководителем мастерской во ВГИКе, он воспитал не одно поколение советских режиссеров. Занятый по горло постановкой собственных картин, он находил время заботиться о своих воспитанниках, порой уже именитых. А сколько актерских талантов открыл в своих работах! Взять хотя бы «Молодую гвардию». Нонна Мордюкова, Инна Макарова, Владимир Ивашов, Сергей Гурзо, Василий Лановой и ряд других учеников Герасимова и его супруги артистки Тамары Макаровой шагнули в большое искусство с этого порога. Его личные постановки были, что называется, «верняковые» – при философской глубине и вовсе не примитивные по форме, они собирали по 30–40 миллионов зрителей. Греша многословием диалогов, он, тем не менее, умел сделать экранное зрелище интересным. Как всякого увлекающегося человека, его порой заносило. Немало мучительных раздумий вызвало предложение снять фантастическую картину «Мост». Его влекла идея о сближении русского и американского народов, и сценарий рассказывал о строительстве моста через Берингов пролив. Ясно, что это должна быть совместная работа с кинематографистами США, требующая не миллионных, а миллиардных затрат. Но дело даже не в экономике. Госдепартамент США, старательно бдящий за производством фильмов, не допустит даже переговоров по самой идее фильма, имеющей целью сближение с «империей зла», хотя это определение еще не прозвучало, но дело не в словах, а в сути отношения к СССР. Как охладить пыл неугомонного Апполинариевича? И мы устроили обсуждение. Боже, какое количество интеллектуальных слов наговорил автор – а он был большой мастер заумных речений. Но ему нашелся достойный оппонент – редактор Игорь Раздорский, с которым мы предварительно обговорили тактику обороны. Битва титанов интеллекта продолжалась более часа, а все обсуждение – почти втрое дольше. Мы сидели, с трудом вникая в суть диалога. Но, в конце концов, Герасимов любимым жестом погладил то место, где когда-то была шевелюра, и сказал:

– Да, стало быть, над сценарием придется еще поработать. – Оставшись наедине со мною, спросил: – У вас все такие компетентные редакторы?

Я не сказал, что на скамейке запасных томились еще готовые к бою Евгений Котов, Игорь Садчиков, Валерий Щербина, Тамара Юренева, Марина Марчукова, Абдуррахман Мамилов и другие редакторы, профессионалы высшей пробы.

– Вгиовцы... – неопределенно ответил я.

– Завидую. Ну, я пошел. – Герасимов подал мне руку и отправился писать сценарий об уходе Толстого.

Больше мост на Чукотке мы не строили.

К сожалению, имя этого выдающегося деятеля ныне предано забвению историками кино, хотя он внес неоценимый вклад в великий советский кинематограф.

Доверительные, я бы сказал – товарищеские, отношения сложились у нас со Станиславом Иосифовичем Ростockим. И дело не только в том, что мы были почти

ровесники, одинаково свято относившиеся к фронтовому прошлому и во многом сходные во взглядах. Бывает ведь и так, что люди проникаются человеческой симпатией друг к другу. Он и называл меня необычно: «дядя Боря», вроде бы стесняясь величать по имени-отчеству, но и не допуская панибратства. А мне скорее всего импонировало его стремление понять позицию собеседника и, если это не противоречило принципам, найти компромисс. Но порой Станислав бывал непримирим. Так, скажем, он попортил мне немало крови из-за попыток помочь встать на ноги режиссеру Володе Бычкову. Москвич, получивший путевку в жизнь на «Беларусьфильме», вернулся в родные пенаты на студию имени Горького и, оказавшись не у дел, начал запивать. Творческий путь его был непростым. Дипломную картину «Внимание! В городе волшебник» мы еле-еле вытянули – режиссер не мог справиться с условным решением замысла, годным скорее для сцены. Необыкновенный выдумщик и фантазер, тяготеющий к живописному изображению, тонкий стилист, он взял свое сполна во второй работе – фильме-сказке «Город Мастеров». Здесь все было к месту – и живопись, и очаровательная музыка, и ритмы, и маски. На следующей работе, которую он начал в сопостановке с художественным руководителем С. К. Скворцовым – «Христос приземлился в Гродно», – опять сорвался, закружился в фантазиях. Пригласив на картину художника Большого театра Боима, попытался решить пластический ряд в манере костельной живописи XII–XIII веков. На полотне это, возможно, и возымело бы свой эффект, а на киноэкране гигантские фигуры, шагающие через карликовые дома и церкви, вызвали недоумение. Пришлось все возвращать в реалистический ряд, хотя Скворцова упрямый Бычок с картины выжил. Ленту кое-как смонтировали и сдали. Переехав в Москву, я помог ему получить постановку фильма «Достояние республики» – было недопустимо терять художника необычного дарования. Но Володя уже сошел с рельсов. Не утратив творческого потенциала, он потерял контроль над собой и являлся на съемочную площадку или в монтажную комнату вовсе в непотребном виде. Станислав Ростоцкий не раз корил меня прилюдно, даже на заседаниях коллегии «за поддержку пьяницы». Картину довели до ума, но Бычков так и выпал из творческой обоймы, о чем я искренне сожалею, погиб большой талант. Одного ли его водка сгубила? Рабочие разногласия не рассорили нас, хотя и я Стасу, как его звали друзья, спуска не давал. В умной и цельной картине «Белый Бим, Черное ухо» он допустил досадный сбой: дойдя до образа «плохого дядьки», свалился на шарж, вовсе выпадавший из стиля картины. Впрочем, такая ошибка была свойственна многим режиссерам. «Отрицательные» персонажи представлялись чаще всего тупицами и дураками. Но какой конфликт может произойти между дураком и умным? Кто победит, изначально ясно, а зло оказывается легко преодолимым. Если бы так было в жизни... С Ростоцким и его семьей мы были все годы в близких отношениях, хотя не ходили друг к другу пить чай. Безвременную кончину его сына Андрея я пережил как гибель родного человека. До сих пор восхищаюсь мужеством Нины, потерявшей за короткое время мужа и сына.

Я мог бы сказать немало добрых слов о творческом общении с Евгением Матвеевым, Георгием Данелия, Витасом Желаквичусом, Леонидом Гайдаем, Татьяной Лиозновой, Владимиром Басовым, Константином Воиновым, Юлием Райзманом, Александром Аловым и Владимиром Наумовым (хотя Владимир Наумович предпочитал контакты на втором этаже, с Ермашом), с Александром Миттой, гениальным мультипликатором Федором Хитруком и многими другими. Однако рассказывать о бесконфликтных отношениях так же трудно, как лепить образ «положительного» героя.

С накоплением опыта у меня начало возникать опасное равнодушие. Прочитав сценарий, я уже знал, какая доводка потребуется, на что автор согласится сразу, против чего будет стоять насмерть, а чему предстоит дозреть. Знал, на что согласится режиссер, а в каком месте, как говорят, упрется рогом, и к чему вернется, когда фильм уже будет готов и, значит, потребуются досъемки, то есть деньги, время, корректировка плана и масса других забот. Знал и места, за которые обязательно зацепятся неофициальные цензоры. Об этом я честно

предупреждал и авторов, и студии. Узнав, что «Беларусьфильм» совместно с «Мосфильмом» собираются ставить большую картину о партизанах по сценарию Алеся Адамовича, а режиссером приглашен Элем Климов, я тогда же сказал студийцам и Ермашу, что нас ждет немало сюрпризов. Алеся Адамовича я хорошо знал. Доктор филологии и средний писатель, он открыто не признавал марксистскую философию, имел предвзятые отношения к коммунистам и своеобразные взгляды на историю Великой Отечественной войны. Он считал, что напрасны были жертвы в осажденном Ленинграде, город надо было сдать немцам. Еще работая над фильмом о партизанах «Сыновья уходят в бой», пытался провести мысль о равной ответственности Советского Союза и фашистской Германии за ужасы войны. Но там он не имел поддержки от режиссера Виктора Турова, который в детском возрасте вместе с матерью прошел через гитлеровское рабство. Иное дело Элем Климов. Выросший в семье крупного партийного работника, он не испытал военных тягот и видел изнутри цинизм советской элиты. Судьба одарила Элема незаурядным талантом и критическим взглядом на жизнь, картины его были яркими, темпераментными, с сатирическими подтекстами. От гремучей смеси Адамович – Климов можно было ожидать чего угодно, но не благостного патриотического фильма, на который рассчитывали в Белоруссии. Положение осложнялось тем, что там они обрели высоких покровителей – первого секретаря ЦК Машерова и секретаря ЦК по идеологии Александра Трифоновича Кузьмина, это давало возможность сколько угодно играть в испорченный телефон. Разногласия выявились уже при первом знакомстве со сценарием. Мы не стали вступать в спор по поводу желания авторов снять ореол героизма с партизанского движения, оторвать его от повседневной жизни оккупированного населения. А когда пошел первый отснятый материал, то народные мстители представлены были, скорее, как плохо организованная толпа оборванцев. В конце концов, это было дело высоких белорусских покровителей. Мой старый друг Саша Кузьмин по телефону высказывал мне претензии по этому вопросу, а Ермаш приказал:

– Не лезь, пусть сами разберутся.

Нас волновало другое. В центре картины стояла принципиально неприемлемая сцена «Круговой бой», где и немцы, и партизаны, очумев от крови и ярости, уже потеряли человеческий облик, оказались равно жестокими и бессильными. Вольно или невольно, они уравнивались в ответственности за кровавое действие. К концу фильма главный герой, мальчишка, чья психика нарушена, стреляет в видение Гитлера. Выстрелы поражают ненавистный образ (фотографии) в обратном его развитии – от последнего бункера до младенческого возраста. Мы настаивали на том, чтобы исключить из сценария «Круговой бой» и последний выстрел в Гитлера-младенца. Такая последняя точка превращала фашизм из социального явления в патологическую закономерность, заложенную, якобы, в человека природой изначально.

Злой рок преследовал картину. Именно в период работы над ней в жизни Элема Климова произошла страшная трагедия – на съемках картины в автомобильной катастрофе погибла его жена Лариса Шепитько. Это было тяжелым ударом и для всех нас, ибо погибла в пору расцвета обаятельная женщина, режиссер необыкновенного дарования. В работе над фильмом «Иди и смотри» наступил перерыв. Я не представляю, как Элем устоял, не сломался. Он завершил начатую Ларисой работу, снял документальный фильм о ее жизни и лишь потом продолжил съемки фильма о партизанах. Картина получилась жесткой и, даже сказал бы я, в чем-то жестокой. Особенно впечатляющим стал образ мальчишки, которому, пройдя через ужасы войны, уже не дано было стать нормальным человеком. Сцена «Круговой бой» не вошла в материал, и от последнего выстрела в Гитлера авторы отказались.

Отношения с Климовым, естественно, разладились. «Испорченный телефон» возлагал всю вину на меня, ибо я был «диспетчером», слугой четырех господ, доносящим до группы претензии всех сторон – ЦК Белоруссии, «Мосфильма» и «Беларусьфильма», а также руководства Госкино. Все это очень напоминало древнюю традицию, когда рубили голову не полководцу, проигравшему битву, а гонцу, принесшему дурную весть.

Такова была рутина будней. Закончив тренировку нервов, я уезжал домой, захватив на вечер парочку сценариев, которые обязательно надо к завтрашнему утру прочитать. А назавтра все то же, только с новыми действующими лицами. Я чувствовал, что начинаю обрастать шерстью. За 15 лет лишь однажды удалось сходить в театр – мы с женой посмотрели в Большом балет «Спартак». Отпускные месяцы отдавал литературному творчеству, написал большую повесть «Вернись к юности», роман «Друзей не выбирают», работал в соавторстве с моим бывшим студентом Сашей Поляковым и документалистом Михаилом Фрайманом над двухсерийным сценарием «Черная береза». Иногда, преимущественно в отпуске, случалось урвать час-другой, чтобы встать к мольберту. Усталость брала свое, и я честно предупредил Ермаша, что в день, когда мне исполнится 60, ему на стол ляжет мое заявление об уходе.

Немало приходилось заниматься и международными делами. Я, как и в юности, был жаден до познания иных миров, иных народов, но, бывая за рубежами, все равно рвался домой – мне быстро приедалась экзотика чужих стран, да и от основных обязанностей никто не освобождал, я понимал, что каждый день гостевания в далеких краях, вернувшись на родину, придется возмещать часами переработки. И все-таки богатство встреч с интересными людьми стоило того: светлой памяти доктор Альенде в последние дни его жизни, Индира Ганди, Пабло Неруда, Радж Капур, лидеры Алжира, Судана, Сомали, Вьетнама, клуб миллионеров – «отцов» Кливленда, центра атомной промышленности США, тусовка звезд Голливуда, собравшихся, чтобы поглазеть на советского «министра» – официальным советским делегациям въезд был закрыт, но я был гостем Сайруса Итона-младшего, одного из лидеров Кливлендской группы. Примечательным на этой встрече был разговор с известной актрисой и возмутительницей спокойствия Джейн Фондой. Она, отловив меня в шумной тусовке, задала вопрос, явно рассчитанный на то, чтобы поставить меня в тупик:

– Как советский министр относится к сексуальной революции?

Я отбилсЯ незамедлительно, ответив в американской грубоватой манере:

– При помощи сексуальной революции можно разрушить кровать, но не социальную систему.

Тусовка поддержала меня смехом, свистом и аплодисментами. А журналисты зауважали и не стали досаждать глупыми вопросами.

Я был постоянным неофициальным куратором польской, чехословацкой и югославской кинематографий, желанным гостем Варшавы, Праги и Белграда...

Поездки бывали не только интересными, но и трудными. Последнюю ночь в Судане, к примеру, пришлось коротать в офисе «Аэрофлота» – сыновья премьера, что называется, «положили глаз» на нашу актрису, и, уехав из гостиницы, мы загостились до отлета домой. «Сынки» наведались-таки в гостиницу и были разочарованы, не застав актрису в номере.

На улицах Сантьяго де Чили наш автомобиль обстреляли из автомата – начинался мятеж. Но и мирные зарубежные будни бывали не всегда мирными.

Однажды меня позвал Ермаш.

– Сорочки чистые есть? – спросил он, протягивая руку для приветствия.

– А куда и когда ехать? Я понимаю, что не в Канны и не в Милан, туда пошлешь Сизова или Баскакова (он был первым заместителем Ермаша), а на фестиваль в Индию ты уезжаешь сам.

Ермаш засмеялся:

– Догадливый ты парень, а не попал в точку, как раз в Индию и поедешь. Лететь завтра. Вот, возьми билеты и паспорт с визой. Я не могу лететь, на днях Пленум ЦК.

– Хоть бы за пару дней предупредил, подготовиться надо.

– А чего там готовиться – купи пару бутылок виски, и готов, у нас в буфете есть.

– Какую картину послали в конкурс?



– «Человек уходит за птицами».  
– Час от часу не легче, она у меня в печенках сидит.  
– Ну и пусть сидит, а ты без приза не возвращайся.  
– Да уж, с ней прорвешься.  
– А ты подсуепись, – он протянул руку. – Бывай. И не забудь позвонить Дине, пусть сорочки полегче готовит, там сорок градусов в тени. Поедешь, кстати, в ранге министра, программа заделана под меня.

Картина «Человек уходит за птицами» действительно рождалась нелегко. В основе сценария лежала красивая восточная притча, изукрашенная поэтическими завитушками. Читать – одно наслаждение. Режиссер Али Хамраев, поставивший немало ярких остросюжетных картин, сохранив в режиссерском сценарии красоту слога и все восклицательные знаки, не дал себе труда выстроить более или менее внятный сюжет и конструкцию, прописать диалоги и сцены. Я узнал об этом случайно, когда производственники попробовали разработать лимит затрат на постановку.

– Не можем определить количество и стоимость объектов, сколько и каких потребуется актеров – ролевых и эпизодических, какая массовка потребуется, не известен объем декораций. О, прекрасноликая! О луноподобная! О, услада души моей! И только...

Я позвонил в Ташкент:

– Али! Если хочешь запуститься со своим Мушфики, срочно выезжай и доводи до ума режиссерский сценарий. Хочешь, обговорим предварительно.

Ох, и намучился он со сценарием! Но все же сложил более или менее внятную конструкцию, подобрал изрядно словесных красот, очеловечил речь героев. Картина получилась красивой и романтической сказкой о восторгах любви в пору, когда цветет миндаль. Правда, дотошные редакторы наши отыскивали в готовой ленте следы, по крайней мере, восьми модных мировых режиссеров. И вот теперь мне предстояло защищать честь Мушфики – так звали героя фильма – перед въедливыми взорами соперников на международном фестивале.

К трапу самолета подали огромный, как вагон, «додж» с советским флажком на капоте, при сходе на землю меня щедро «огирляндили», разместили в люксе гостиницы «Акбар». Около двери в номер дежурили три босика в пожелтевших от грязи белых костюмах, это оказалась правительственная охрана во главе с начальником «ихней девятки». Свалив в угол гирлянды, я перелистал красочно оформленную программу с неуклюжим переводом на русский язык. Но это не помешало обнаружить «мину» – итальянские кинематографисты представили на конкурс картину об ужасах сталинских репрессий. Картина была включена в программу. Значит, кончилось искусство, началась политика, и надо было реагировать быстро и эффективно. В тот же день я обратился с протестом к председателю жюри, понимая бессмысленность этого шага. Как и следовало ожидать, он отослал меня к отборочной комиссии, которая фактически утратила свои полномочия с началом фестиваля. Я понимал это, но рассчитывал, что волна протеста советской делегации достигнет ушей министра информации, шефа международных связей и одного из влиятельнейших лиц в правительстве. Я поручил переводчику сообщить помощнику министра, что завтра с утра намерен посетить его превосходительство. Сам, рискуя нарваться на отказ, разговаривать не стал. Зная, что фестивальные картины будут показываться на коммерческой основе в кинотеатрах, мы вместе с представителем «Совэкспортфильма» Игорем Анохиным решили совершить экскурсию по городу. Вот когда выявились преимущества машины с флажком – перед нами расступались даже коровы, гуляющие по улицам Дели, а худые полицейские на перекрестках вытягивались, рискуя превратиться в струну из жил. Итальянский фильм был повсюду снабжен фасадной рекламой, Мушфики терялся где-то в середине анонсного списка. Не избежал общего азарта и кинотеатр, который мы держали на паях с индийцами. Я сделал выговор Игорю, а он хозяину кинотеатра:

– Чтоб завтра рекламы на фасаде не было! И продажу билетов на итальянцев

прекратить! Я собирался перевести тебе деньги, а теперь погожу. Понял, чикидар (товарищ)?

Утром в приемной у министра я узнал, что он будет не раньше, чем в 12 часов.

– Я подожду, – и расположился на облезлом диванчике.

Помощник поморщился, надеясь избавиться от меня, но, поняв, что этого не произойдет, учтиво спросил:

– Чай, кока-кола, виски, коньяк?

О, тут все, как у людей.

– Виски.

– Айс?

Но айс. И ему, – я указал на переводчика, – и себе.

Министра я прождал до трех, он время от времени позванивал, интересуясь, не лопнуло ли у меня терпение, о чем мне регулярно докладывал переводчик, выпускник университета имени Патриса Лумумбы. Наконец, его превосходительство прибыло. Мы где-то пересекались и потому поздоровались, как старые знакомые. Он был симпатичный и интеллигентный человек. Потому я не стал тратить времени на разминку и пригласил его вместе с супругой на отдых в Советский Союз. Он обещал подумать, но сказал, что я, видимо, ожидал его так долго не только за этим. Я изложил свою позицию по поводу включения в программу фильма, противоречащего регламенту фестиваля, где записано, что в программе не должно быть картин, унижающих достоинство других стран-участниц. Советская делегация просит изъять из программы итальянский фильм.

– Программу комплектует отборочная комиссия, и я не могу вмешиваться в ее деятельность, – ответил министр, мило улыбаясь.

– Значит, это промах вашего заместителя, производившего отбор картин. Я извиняюсь, что отнял ваше время. Хочу поставить в известность, что сегодня вечером я собираю пресс-конференцию, где заявлю, что советская делегация покидает фестиваль и сообщу причину.

Я бил наверняка, потому что знал -индийцы мечтают поднять делийский фестиваль до уровня каннского или миланского. Крупный скандал бьы ни к чему. Он пообещал переговорить со своим заместителем и председателем жюри, мои доводы показались ему заслуживающими внимания. Мы расстались, кланяясь, улыбаясь и пожимая друг другу руки. Визит продолжался 12 минут.

Меня свозили в Тадж-Махал. Итальянцы сняли с конкурса свою картину, благо она была в их программе не единственной; Али Хамраев получил высокую награду – серебряного павлина; директор кинотеатра снял с фасада рекламу опального фильма, но втихую продолжал торговать билетами, наклеив рекламку возле окошечка кассы. Пойманный за руку, он слезно молил не наказывать его, чтобы не ввергнуть в убытки, он и так на грани разорения, а вечером просит пожаловать на свадьбу дочери. Глянув на грудку подарков, мы поняли, что разорение ему не грозит – одного из бесчисленных алмазов хватит бедняге, чтобы купить, по меньшей мере, парочку кинотеатров.

Неизгладимый след оставило в памяти участие в берлинском кинофестивале, куда мы вместе с режиссером Ларисой Шепитько привезли ее картину «Восхождение» по повести Василя Быкова «Сотников». Разве можно забыть напряженную тишину зала, когда в финальных кадрах на экране появился осиянный небесным светом лик восходящего на Голгофу партизана, гениально сыгранного молодым Борисом Плотниковым. И финал – покаянное лобзание родной земли предавшим его товарищем – артист Гостюхин ушел дальше замысла режиссера и провел эту сцену на высочайшем трагедийном уровне, на пределе искренности. Лариса смотрела на экран, напряженно сжавшись. Она не могла выйти из этого состояния и в минуты долгой овации, и на старте пресс-конференции, отвечала, будто продолжая бой, начатый ее героями... В паузе я шепнул:

– Лариса, спокойнее, на вас не нападают, вами восхищаются.

Картине единодушно был присужден приз ФИПРЕССИ. И следующую работу – фильм «Матера» она ставила с той же истовостью, глубоко веря в Бога, родную землю и святое

предназначение художника. Она была из плеяды великих русских художников, хоть и родилась в Западной Украине.

Ради таких минут стоило сносить и пренебрежение снобов, и тяжелый гнет власти, и работу под ежедневным давлением со всех сторон.

Вот уже и 60 стукнуло. Я заикнулся насчет пенсии, а Ермаш в ответ:

– Поработай еще пару лет. Неудобно получится – в канун сорокалетия Дня Победы Ермаш увольняет ветерана войны...

– Сил нету, да и надоел я творческим работникам. Как только терпят...

– Терпят, говоришь? А сколько поздравлений получил? А цветов – машину загрузили.

– Так это специально, на поминки.

– Типун тебе на язык!

Я ошибся не намного, вскоре мы справляли поминки и по советскому кино, и по советской власти...

Гору приветственных адресов я за один раз унести не смог. Шикарные папки, высший уровень подхалимажа – на Руси это умеют. Если поверить тому, что написано, то получалось, что я, по меньшей мере, гениальный руководитель и, вообще, отец советского кино, ну, вроде, как сейчас Туркменбаши. А подписи – хоть музей автографов устраивай. В общем, самая пора подводить итоги. Я недостойн был громкого славословия. Это мне надо благодарить судьбу за то, что свела она меня с миром кинематографа. Мой труд вовсе не походил на кропотливое радение чиновника. За годы, проведенные на Малом Гнезниковском переулке, я прошел мастер-класс у выдающихся деятелей киноискусства. С каждым из них я совершал движение от литературного сценария через режиссерскую разработку до готовой ленты, вникая в движение мысли мастера, ее непрерывное обогащение, развитие и углубление образов. Григорий Козинцев, Лев Кулиджанов, Сергей Бондарчук, Евгений Матвеев, Лариса Шепитько, Сергей Герасимов, Станислав Ростоцкий, Василий Шукшин, Элем Климов, Марлен Хуциев, Виктор Туров, Иосиф Хейфиц, Реваз Чхеидзе, Сико Долидзе, Иван Пырьев, Глеб Панфилов и многие другие, о ком я уже вспоминал, – идя рядом с ними, углубляясь в их работы, я постигал тайны кинематографического процесса и сложный мир художников экрана. Едва ли кто еще может похвалиться таким «пантеоном» учителей. Не беда, что общение происходило иногда в сложной обстановке. Ангельский характер режиссеру противопоказан, да и я, в силу своего положения в кинематографической иерархии, не мог быть ангелом, к тому же случались срывы, ошибки – кто от них застрахован! Особенно отягощала обязанность доводить до творца чье-то мнение, с которым вовсе не согласен, попадать в положение без вины виноватого.

Глядя на экран, я не уставал восхищаться нашими актерами. Мы обладали лучшей в мире актерской школой. Они не все умели так ослепительно улыбаться или играть мышцами, как их голливудские коллеги. Но они не играли, не подражали персонажам, рожденным фантазией, как дрессированные обезьяны. Они жили на экране, воссоздавая полнокровные образы своих героев с достоверностью, которая покоряла зрителей. Сидящие в зале узнавали в них себя, своих близких, знакомых. Им верили, подражали, в них влюблялись или ненавидели – все всерьез. Именами героев называли детей. Среди актеров у меня было немало добрых знакомых и приятелей. Наиболее устойчивые и сердечные отношения были со сценаристами, собратями по литературному цеху. Высшей наградой для себя считал радость зрителя.

Едем домой. Водитель Алексей Иванович, многолетний мой спутник, человек молчаливый и скромный, вдруг заговорил. Да как!

– Вышли мы вчера с женой из кинотеатра. Снег хлопьями падает, тепло, фонари светят. Красота! И на душе хорошо, как праздник. Жена тоже блаженно улыбается. «А ведь эта картина про нашу жизнь, Леша», – говорит и локотком к моему боку жмет... Такой вечер прожили!

Жена Алексея Ивановича, дама интеллигентная, образованная, работала переводчицей в некоей внешнеторговой организации, а смотрели они фильм «Москва слезам не верит». Признание человека далекого от искусства для меня было дороже любого отзыва в печати. Режиссера Владимира Меньшова поливали то кипятком, то ледяной водой. Элита презрительно кривила губы: снял сказочку про социализм. А американская Киноакадемия присудила «Оскара». Вероятно, за добрую улыбку авторов и красоту человеческих отношений.

В 1985 году, в период начавшейся перестройки, я вышел на пенсию и оставил пост заместителя председателя Госкино. Но с кинематографом не расстался – Ермаш предложил мне должность редактора альманаха «Киносценарии».

## **Жизнь третья. Дорога в никуда?**

Судьба – великая шутница. Я сел за компьютер, чтобы начать последнюю и самую трагическую часть рассказа о своей жизни, 9 мая 2003 года, в день, обозначивший высшую точку звездного взлета моего народа – в праздник всенародного торжества и скорби, Праздник Победы над фашистской Германией. Я не подстраивал свою работу, чтобы столкнуть величие и падение Отчизны именно в этот день – так легла карта, независимо от моей воли. Еще вчера, внося последние поправки в строки воспоминаний о второй моей жизни, я ломал голову над тем, как назвать последнюю часть воспоминаний об историческом катаклизме, быть свидетелем которого сподобила меня жизнь. И лишь сегодня, услышав по радио звуки военных маршей и торжественные голоса дикторов, опомнился – сегодня же День Победы! Клянусь Твоим именем, Господи, что я не подстраивался к этой дате, чтобы заострить драматургию рассказа о своей жизни. Таково было веление судьбы.

Весть о смерти Брежнева застала меня в командировке в Варшаве. Придя в посольство на траурный сбор и слушая сообщение посла, я почувствовал, что по щеке скатывается слеза. С чего бы это? Когда умер Сталин и плакали тысячи людей, в моей душе не шелохнулось скорбное чувство, хотя я был моложе, наивнее и более открыт для впечатлений бытия, а величие и незаменимость «отца народов», казалось, пропитали даже воздух. Вроде бы сам Бог велел воспечаловаться, но сердце мое оставалось бесчувственным. А тут... Я бывал, порой, близок к «вождям» и знал о них довольно много такого, что начисто снимало ореол святости, которым окутывала их официальная пропаганда. Правда, с годами размягчалась душа, и каждая смерть вызывала сопереживание. Что же касается Брежнева, то неуклюжие попытки вознести его при жизни к горним высям вызывали, скорее, недобрый смех, чем восхищение. А кое-что, как например награждение орденом Победы и целый венок золотых геройских звезд, восторженный вой вокруг литературных упражнений, якобы, написанных им, – все это вызывало возмущение. Но его смерть была предвестием пугающих перемен. Что заместит привычный старческий маразм? Те, кто могли претендовать на партийный престол, мало чем отличались по возрасту от усопшего, а значит, станут «калифами на час» и так же через короткое время уедут из Дома союзов на лафете под звуки трагического марша Шопена. Смена властей означала бесконечную череду перемен, в лучшем случае, бесполезных, чаще, вредных. Несмотря на отдаленность лет, хорошо запомнился кавардак, начавшийся после смерти Сталина и увенчавшийся воцарением «культа без личности». Кто взорвет стоячее болото по смерти Брежнева? Увы, вокруг него осталась пустота.

Советский посол в Польше, мой старый комсомольский друг Станислав Пилатович, когда мы остались вдвоем, спросил:

– С чего ты так расчувствовался?

– Черт его знает... Нехорошее предчувствие. Какой начнется бардак, и так дураки одолели...

Стае махнул рукой:

– Закроем тему...

Я черкнул на листке бумаги: «Думаешь, слушают? Друзья ведь».

Он усмехнулся:

– То-то и то. С врагами отношения ясные, а друг всегда загадка, – и, щелкнув зажигалкой, предал огню мою бумажку. Что он имел в виду, стало известно позднее.

С чего начинается Родина? С вокзального ресторана в Бресте. Едучи из-за рубежа, мы всегда заходили туда съесть тарелку борща, три-четыре штуки оладьев из тертой картошки со сметаной – «драников» на белорусском языке. На этот раз возле буфета грохотал динамик радио, передавали сообщение о пленуме ЦК, на котором избрали Генерального секретаря взамен почившего Брежнева. Им стал Андропов. Когда диктор, зачитывая его биографию, сказал, что в недавнем прошлом он работал председателем Комитета госбезопасности, проходивший мимо нас мужик насмешливо буркнул:

– Вот это самое главное, – и недобро засмеялся.

Не все жители Бреста любили Советскую власть и особенно КГБ.

Андропов начал с закручивания гаек. По магазинам в рабочее время побежали опричники, отлавливая тех, кто, оставив на служебном столе бумажки, отправился по своим делам. В тронной речи было намечено очень много полезного. Но человек предполагает, а Бог располагает. Минул год, а то и меньше, и повезли на лафете из Колонного зала на Красную площадь под музыку Шопена только вошедшего во вкус власти Генерального секретаря. Не выдержали почки. На его место поставили древнего канцеляриста Черненко. Этого подвела любовь к рыбке. Говорили, что, поехав на курорт, отправился с местными кадрами на рыбалку. Ловили, Думаю, на «самодур» – длинную леску с дюжиной крючков, наживленных цветной шерстяной ниткой. Процесс излюбленного номенклатурой способа ловли был несложен – сиди в лодочке и только успевай опускать и вытаскивать снасть да снимать глупую пикшу или ставридку. Тут же на бережку ее присаливали и коптили – божественная еда. Но прошел слух, что рыбкой угостил кто-то из друзей, отведал Константин Устинович гостинца горячего копчения и вернулся в Москву кандидатом на музыкальный лафет. Заходили кругами возле него кандидаты на престол. Помню показанную по телевидению сцену вручения большому удостоверения депутата Верховного Совета СССР. Рвавшийся к власти секретарь Московского горкома партии Владимир Гришин всячески изображал оптимизм, а Черненко, которого кое-как привели в вертикальное положение, не мог руку поднять, чтобы взять красную книжицу. И снова тащат по Охотному ряду лафет, украшенный цветами, и снова ждем вождя. А выбирать-то, вроде, не из кого... Были толковые мужики – Мазуров, Шелепин, но их уже безвозвратно отставили еще при жизни Леонида Ильича, как говорили, за «небрежность». Толковый промышленник Долгих и кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК Белоруссии Машеров еще «не дозрели». Ближе к трону вертелся протеже «серого кардинала» Михаила Суслова, его земляк, бывший секретарь Ставропольского крайкома партии Горбачев, известный среди жаждавших минеральных вод и грязей Миша-«конверт». Но о нем никто всерьез и не думал. А расклад сил на заседании Политбюро оказался таким – кого-то услали в командировку, кто-то приболел, – что решили выйти на пленум с кандидатурой Горбачева. Я слышал, будто бы предложение внес Андрей Громыко, отсекавший сразу притязания Гришина. Лучше бы у него отсох язык в эту минуту...

Признаюсь в тяжком грехе: поначалу меня это назначение обрадовало. Слава богу, остановили очередь подернутых плесенью отцов отечества, к власти пришел молодой и энергичный человек. Я вблизи видел его, только изредка бывая на заседаниях секретариата. Немного смущало, что был он многоречив и громкоголос, но выступал по делу, горячо и убежденно, не боялся пойти наперекор. В тронной речи пообещал он того, чего желали не только творческие работники, но и мы, бюрократы высокого ранга – свободу, перестройку работы государственного механизма, ускорение развития. Стоял он на белой трибуне,

украшенной цветами, молодой, обаятельный, в светлом костюме. И на душе светлело: наконец-то освободимся от повседневной опеки, давящего гнета непрерывных указаний, подчас противоречивых и бестолковых. Была, правда, одна загадка, которую никто не пытался разгадать: странный визит секретаря ЦК КПСС к лидеру английских консерваторов леди Тэтчер и переговоры в формате один на один. Такого прежде не бывало. Итоги визита никак не комментировались. Наверное, была какая-то государственная необходимость. Незадолго перед тем председателю Верховного Совета Николаю Викторовичу Подгорному надоело, видимо, сидеть да вручать ордена Брежневу, и он рванул в международный вояж к африканцам. Поездка была недолгой и результативной: президент<sup>6</sup>, не зная тонкостей дипломатии, крепко наследил, поссорившись почти со всеми друзьями. На ближайшей сессии Верховного Совета окончилась его карьера. Политбюро не прощало самостоятельности. Так что саммит Горбачева, очевидно, не противоречил линии партии. Но, заглядывая вперед, думаю, что он использовал тет-а-тет с английской леди, чтобы получить какие-то далеко идущие авансы. Для чаепитий у железной леди хватало партнеров. Однако сомнения сомнениями, а факт был налицо – Горбачев стал первым человеком в государстве..

Не понадобилось много времени, чтобы понять: мы получили в вожди Союза пустышку. Практических дел по «перестройке» и «ускорению» не последовало, если не считать антиалкогольной кампании. Поддержанный вторым секретарем ЦК Егором Кузьмичем Лигачевым, по слухам, выходцем из старообрядческой семьи, генсек дал команду рушить спиртзаводы и вырубать виноградники. Следствием явилось разливанное море самопального питья и обвал государственного бюджета. Но это, как и другие практические вопросы экономики и государственного строительства, похоже, мало волновало вождя коммунистов. Я помню только бесконечные речи и ни одной продуманной акции по подъему производства. Перестройку просто-напросто заболтали, а дела в промышленности и сельском хозяйстве шли все хуже и хуже. В магазинах опустели полки, а очереди опоясали прилегающие к торговым точкам территории. Генсек обратился к опытным партийным кадрам с призывом дать свои соображения по совершенствованию и демократизации управления. На этот крючок попался мой старый товарищ Станислав Пилатович. О его судьбе рассказала мне бывший заместитель председателя Совета министров республики Нина Снежкова.

Вскоре после нашей с Пилатовичем встречи в Варшаве, в день восшествия на партийный престол Горбачева, он получил приказ явиться в Москву к Суслову<sup>7</sup>. Три дня просидел в приемной у него, но так и не был допущен к особе. В МИДе ему сообщили, что по требованию главы польского государства он отставлен от должности. Пан-товарищ Герек выразил неудовольствие излишней осведомленностью советского посла – видя нарастание антирусских настроений в Польше, Пилатович послал аналитическую записку в Москву, и кто-то подробно информировал об этом пана-товарища. Тот потребовал убрать слишком настырного посла. Пилатовича вывели из кадров МИДа и уволили, что называется, без выходного пособия. Отсидев бесплодно в приемной «серого кардинала», уехал в Минск. Возвращаясь на родину, он не питал радужных надежд. Его любил партийный актив республики за честность, прямоту, уважительность в общении с людьми и демократичность. При выборах первого секретаря ЦК Белоруссии, после отъезда Мазурова в Москву, он котировался на этот пост наравне с Машеровым. Пленум при незначительном перевесе голосов избрал Машерова: ты помоложе, Стас, и еще успеешь порулить. Но Стас счел за благо покинуть пределы родной республики, понимая, что двум медведям в одной берлоге не

---

<sup>6</sup> Так в оригинале. – Примечание автора электронной версии.

<sup>7</sup> Так в оригинале. Сложно понять, что имеется ввиду, так как М. Суслов скончался в 1982 году, а Горбачев «взошел на партийный престол» в 1985 году. В тексте данной главы есть еще подобного рода «несстыковки». – Примечание автора электронной версии.

ужиться. И вот теперь приходилось возвращаться. Должность ему подобрали не обидную – первый заместитель председателя Совета министров. Ему бы отсидеться в тиши, но, не привыкший есть свой хлеб даром, Стас активно взялся за работу, не поняв, что в республике есть только один человек, которому дано судить, что такое хорошо, что плохо. Окончилось тем, чем и должно было. При обсуждении одного из вопросов на бюро ЦК его точка зрения не совпала с позицией хозяина, и это было не впервой. Вышел бурный разговор, после которого Стас тут же написал прошение об отставке и вышел с заседания бюро пенсионером. Затаиться бы на даче, но партком ЦК, следуя предложению Горбачева собрать партийную мудрость воедино, попросил: «Напиши, Станислав, свои соображения, ты человек мудрый». Он отослал в Москву прожект, опираясь, естественно, на опыт республики. Записка вернулась в Минск на «реагирование», как заурядная жалоба пенсионера с просьбой «принять меры». Меры были приняты. Машеров пригласил старого товарища – в комсомоле работали вместе – и сказал:

– Если ты еще будешь писать на меня доносы, исключим из партии, со всеми вытекающими последствиями.

Вернувшись на дачу, Станислав выстрелил в себя из охотничьего ружья. Двое суток врачи боролись за его жизнь, говорят, он очень не хотел умирать. Как живой стоит передо мной облик красавца-брюнета, белолицего и сероглазого, с внимательным взглядом, неторопливой, негромкой речью, товарища чуткого и справедливого.

Машеров ненадолго пережил его. Я еще работал, и мы с женой поехали на лечение в Карловы Вары. Очень обрадовались, встретив там друзей юности – первого секретаря Витебского обкома партии Сергея Шабашова и его жену Нину, а также супругу Машерова, очаровательную и скромную женщину Полину Андреевну, которую тоже знали с юных лет. Петр Миронович приехать не смог – шла уборочная кампания, а он любил сам приглядеть за всем. Осенняя пора в Карловых Варах неповторима золотом увядших кленов, тишиной прозрачного леса, безлюдьем серпантинных троп, и мы часами бродили по невысоким горам. В тот день все впятером после прогулки подходили к корпусу и увидели у входа сотрудника охраны Машерова и медицинскую сестру. Полина Андреевна рванулась вперед и вскрикнула:

– Что-то с Петром случилось!

Я на всякий случай придержал ее за локоть. Охранник громко возвестил (Полина в молодости утратила слух):

– Полина Андреевна, мы привезли вам скорбную весть – Петр Миронович погиб.

Она разом сникла и, прижав голову к моему плечу, проговорила, не обращаясь ни к кому:

– Всю партизанку я не отходила от него ни на шаг, берегла, как могла... А тут... Первый раз я поехала без него на отдых, бросила одного. И вот... – Она пыталась удержать слезы, но они хлынули разом, женщины повели ее в помещение.

Подробности рассказал мне капитан из «девятки» и Сергей Шабашов, ездивший на похороны. Воскресным утром Машеров поехал по колхозам проверить, как идет уборка картофеля. Бронированная «чайка» была в ремонте, и он отправился на обычной. Машины сопровождения белого цвета – он не любил «канареек» автоинспекции – шли с большой разбежкой. Неподалеку от Орши первая машина отогнала к обочине «ЗИС» с прицепом и пассажирский автобус, затем помчалась дальше. Шофер грузовика, решив, что дорогу требовала белая машина, стал выворачивать к середине шоссе, и «чайка» Машерова врубилась почти в бензобак грузовика. Скорость была под 140 километров, а водителю за 60 лет, и он не успел среагировать на помеху. Погибли трое – Машеров, водитель и сотрудник охраны. Суд не нашел злого умысла или неправомерных действий со стороны водителя грузовика. Полина Андреевна просила не судить строго колхозника, отца троих детей. Потом, в разгуле перестроечных страстей пошли слухи, что смерть Машерова – дело рук спецслужб. Думаю, что это была просто дань моде времени, когда чекистов винули во всех грехах. Машеров никому не переходил дорогу и никому не мешал. Белоруссия его любила,

как никого ни до, ни после. На похороны шли толпами, пешком за сотни километров. Присутствие ЦК КПСС было на уровне вторых лиц.

Горбачева, ясное дело, горе белорусского народа не касалось. Он раскручивал перестройку, или, вернее, себя на волне перестройки. Его влекли заоблачные выси, вселенский масштаб и стремление въехать в историю человечества на белом коне. С пылом и страстью неумного старшеклассника он возгласил: «Давайте дружить!» Это «ноу-хау» преподносилось миру, как великое откровение, образец нового политического мышления. «Новое мышление» должно было положить предел войнам и распрям, а также всяческим классовым, расовым и национальным противоречиям. Кочуя из страны в страну, новоявленный «мессия» раздавал улыбки и авансы. Рядом с ним неизменно маячил исполненный державной озабоченности постный лик «первой леди», Раисы Максимовны. Перед объективами телекамер она норовила стать так, чтобы быть всегда чуть-чуть впереди «Миши», а вскорости выяснилось, что Политбюро обрело в ее лице самого главного консультанта и советчика. Россия, особенно ее женская часть, дружно возненавидела «первую леди». Бабий глаз сразу разобрал, кто в государственной спарке является ведущим, а кто ведомым. Мир посмеивался наивности и бесплодности призыва к «новому мышлению», но охотно аплодировал советскому лидеру, ибо, разглагольствуя об общечеловеческих ценностях, он с завидным постоянством предавал интересы России, транжирил ее богатства. И не бескорыстно. В конвертах и чеках потекли сотни тысяч долларов – гонорары за прочитанные лекции, авансы за будущие книги. Самой крупной «взяткой» стала Нобелевская премия мира, что-то около миллиона долларов. Поощряя развязанную в прессе травлю прежнего руководства за «привилегии», чета Горбачевых заказала построить роскошную дачу в Крыму, сметная стоимость которой определялась примерно в 40 миллионов рублей (доллар в то время оценивался в 60 копеек).

Засветился на политическом небосклоне опальный политик Ельцин. Помню его покаянную речь на XXIII (кажется?) съезде партии, где, клянясь в верности ленинской линии, он выдал целую программу популистских заявлений. Особенно жесткой критике подверг «привилегии» руководства. «Никаких привилегий! – гремел его жесткий голос с трибуны под аплодисменты зала, и через короткий вздох. – Кроме тех, кому они положены...» Я еще подумал: и нашим, и вашим, Далеко пойдет, сукин сын. И он пошел, встал в ряды застрельщиков борьбы против партии. Время от времени из-за кулис появлялась кувыркающая фигура Александра Яковлева, бывшего в прошлом главным подручным генерального идеолога партии Михаила Суслова. Именно он стал во главе мозгового центра антипартийных и антикоммунистических сил.

Я впервые столкнулся с открытой и хорошо управляемой оппозицией партийному руководству искусством на V Съезде Союза кинематографистов (1986 г.). Порохом запахло еще в период подготовки к нему. На собраниях секций открыто заговорили о том, что нынешнее руководство союза во главе с уважаемым и достойным человеком, режиссером Львом Александровичем Кулиджановым, пора пустить под откос. На предсъездовском пленуме союза, посвященном выбору делегатов, сидел я в Белом зале Дома кино. Крик стоял, как на одесском Привозе – дебатировался вопрос: избирать или нет делегатами съезда действующих секретарей союза. Утирая пот, мотался перед президиумом и вдоль зала Эльдар Рязанов, прекрасный комедиограф – тем бы ему и заниматься, сколачивая блок единомышленников-«айсбергов». Вероятно, ему и самому хотелось порулить, а жаль, потому что, обуреваемый политическими заботами, он так и не смог больше выйти на уровень «Иронии судьбы». И крупным руководителем не стал, зато, не таясь, начал прислуживать новой власти.

V Съезд стал первым открытым оппозиционным выступлением творческой интеллигенции против партии и советской власти. Я был на этом съезде и со стыдом смотрел, как «захлопали» доклад Кулиджанова, не дали закончить выступление Ермашу, согнали с трибуны вовсе не робкого Никиту Михалкова, пытавшегося воззвать к благоразумию, как поносили великих режиссеров... В президиум время от времени



заглядывал секретарь ЦК Александр Яковлев, явно руководивший и направляющий съезд. Иногда он подзывал Шауро, и тот семенящей походкой трусил из зала к президиуму. Мне стыдно было за этого умного и тонкого человека, который вынужден был прислуживать ничтожествам. В перерыве возле входа в президиум мелькнул знакомый седой чубчик Лигачева... А после выступления делегата от Грузии Эльдара Шенгелая я ушел со съезда. Под аплодисменты зала он возвестил: «Долой насилие партии над искусством! Наконец-то, освободившись от опеки верхов, мы сделаем студию „Грузия-фильм“ рентабельной, а наши фильмы окупаемыми в прокате». Я понял, что это безответственное сборище, если возьмет власть в свои руки, приведет советский кинематограф к краху. Однажды кто-то из мосфильмовских крикунов, претендующих на руководящую роль, решил подкрепиться мнением американского авторитета – крупного продюсера и с надеждой спросил: как он смотрит, чтобы управление на студиях отдать творческим работникам? Он ответил коротко:

– Это все равно, что управление сумасшедшим домом отдать в руки сумасшедшего.

Уж кто-кто, а я-то знал, что грузинская студия и года не продержится на плаву без мощных вливаний из центра. Ее фильмы, за редким исключением, смотрели лишь в республике да узкий круг особых ценителей киноискусства за ее пределами. Хотя среди работ грузинских мастеров были истинные шедевры, и я любил многие из них. Ни о какой рентабельности «Грузия-фильма» и речи быть не могло. Да и остальные республиканские студии существовали только за счет перераспределения доходов от проката картин центральных студий. Порой и этого не хватало, тогда мы укрепляли киноафишу дешевыми иноземными «завлекаловками» вроде «Есении» или «Королевы Марго». Это называлось «перейти на содержание Брижит Бардо». Прокат фильмов – дело тонкое и искусное. Забегая вперед, замечу: первой крупной акцией, которую совершило новое руководство Госкино, действуя под диктовку руководства Союза кинематографистов, была ликвидация прекрасно отлаженной системы проката фильмов. Это предопределило развал всей системы советской кинематографии.

После съезда я зашел к Ермашу.

– Филипп, что происходит? Весь съезд – откровенная вражеская акция.

Он, прищурив глаза, смотрел вдаль. Взгляд был тусклый, без обычной иронической смешинки. Сняв очки, он принялся протирать их и ответил, не глядя мне в глаза:

– Есть указание – крушить все подряд, разрушить до основания старую государственную машину.

– А как же...

Ермаш перебил меня:

– У тебя есть вопросы по альманаху?

– Нет, все в порядке.

– Иди, работай.

Он протянул руку, давая понять, что разговор окончен.

Через несколько дней ко мне ввалился сценарист Женя Григорьев, как всегда пьяный, плюхнулся на стул к приставному столику. Не удивляясь бесцеремонности – за годы работы в Госкино привык и не к таким фортелям, – я спросил:

– А здороваться тебя в детстве не учили? В чем дело?

Не отвечая на мое замечание, он произнес:

– Мы на секретариате союза решили освободить тебя от работы.

Я, собственно, был готов к этому. Новые вожди союза во главе с Элемом Климовым на одном из первых заседаний составили рескрипционный список, в котором значилось, как мне сообщили, 40 человек. Я входил в первую десятку. Но бесцеремонность Григорьева меня возмутила.

– Знаешь, Женя, не вы меня ставили, не вам и освобождать.

– Я по поручению секретариата.

– Иди, посол, сначала проспись. Всего хорошего. – Он стал наливать малиновой краской, того и гляди, взор вется. Я вскочил на ноги и крикнул: – Вон! Пошел вон, иначе я

тебя вышибу!

Он что-то пробормотал и выскочил из кабинета. Я позвонил Ермашу и рассказал о визите. В ответ услышал смущенное:

– Да, понимаешь, мы тут с Камшаловым подумали, что лучше тебе уйти...

– А мне не могли сказать? Ждали, пока придет пьяный посол?

– Да, понимаешь...

– Понимаю. – Не попрощавшись, я бросил трубку. И это, кажется, был вообще наш последний разговор. У меня не появлялось желания общаться с человеком, с которым проработал около 20-и лет, верил, как товарищу, и который так мило, «по-товарищески», меня предал. Я понимал, что он и сам висит на волоске, но трусливо отойти в сторонку – это было недостойно мужчины.

Заведующему сектором кино Отдела Александру Камшалову, контролирующему кадровые перемены в системе кинематографа, звонить не стал – тот, судя по словам Ермаша, в курсе дела. Разве только поиздеваться? Он выказывал мне особое внимание – по поводу и без повода, особенно в предпраздничные дни, пел дифирамбы моему уму и проницательности, преклонялся перед военным прошлым и т.д. Ему я не верил и был осторожен в разговорах. Мне не нравилось его пристрастие ко всякого рода «клубничке» в кинематографической среде, будь то сплетни политического или семейного толка. Однажды намекнул, что неплохо бы установить доверительные отношения, и чтобы я приватно информировал его о действиях руководства кино и студий. Я отшутился: быть стукачем, Саша, не по моей части. Хочешь узнать, что думают Ермаш или мои коллеги по тому или иному вопросу, позвони к ним, пригласи к себе и выясни. Он отступил: ты, мол, меня неправильно понял, я, в том смысле, что звони почаще, советуйся...

Я после разговора с Ермашом и, попрощавшись с барельефом Пушкина, который сам повесил в кабинете – альманах размещался в доме, принадлежавшем когда-то Ордину-Нащекину, и здесь поэт ночевал, бывая у своего друга, – отдал ключ бухгалтеру, сказав:

– Ухожу. Совсем. Когда будет готов расчет, позвоните, приду за деньгами и устрою чаепитие.

Так завершилось мое государственное служение кинематографу.

Смешное и трагическое ходят рядом. Вскоре Ермаша отправили на пенсию, а председателем Госкино назначили главного «доводчика» Центральному Комитету на кинематографистов Камшалова... Говорят, что по этому случаю в секретариате Союза кинематографистов были пляски:

– Ура! Мы победили! Наш человек!

Предательство в те дни ценилось очень высоко.

Я убрался из города на дачу, которую начал строить пять лет назад. Переехав в Москву, мы поняли, что жить летом безвыездно в столичной толчее невозможно. Попытки обойтись служебными услугами были и накладными и неэффективными. В народе ходили легенды о «привилегиях» начальства, пышных загородных дачах и прочих бесплатных благах, недоступных «народу». Я несколько лет пользовался дачными милостями хозяйственного управления Совета министров. Самая комфортная дача была в Серебряном Бору – две комнатухи общей площадью около 20 метров в полусгнившей «засыпнухе» времен первой пятилетки. У меня появились кое-какие деньги от издания книги, и мы решили строиться. Получить право на владение дачей можно было только при ходатайстве Госкино и разрешении Моссовета и облисполкома. В мою пользу сработала инвалидность, оставленная в наследство Отечественной войной, и мне разрешили вступить в дачный кооператив. Мне достался бревенчатый дом, построенный около 40 лет тому назад.

На эту дачу, освободившись от службы, я уехал из Москвы. Находясь в «ссылке», создал три романа. Два из них – о любви Потемкина и Екатерины, Голицына и Софьи – издал

в Англии, третий – о современности – в России. Горбачевскую перестройку наблюдал из «прекрасного, чудного далека» глазами газет и телевидения. И то, что доносили ко мне средства массовой информации, было кошмаром, порождением больного разума. Невооруженным глазом было видно, как вожди и прежде всего генеральный секретарь ЦК предавали партию и родину. Потом события конца 80-х – начала 90-х годов попытаются назвать «бархатной революцией». Наглая ложь, попытка отмыться от грязного прошлого. Это был тщательно продуманный **заговор** против России, совершенный врагами и в интересах враждебных сил, прежде всего в интересах и под диктовку США. Это была необъявленная третья мировая война, ведущаяся не военными средствами.

Очень точно было выбрано направление главного удара – коммунистическая партия, становой хребет советской власти. Разведку боем на плацдарме свободной прессы провела интеллигенция – писатели, поэты, режиссеры, артисты, крупные ученые – персоны хорошо известные людям, любимые народом. Им верили, за ними шли, и с их помощью ежечасно и ежеминутно шло дикое вранье – народу промывали мозги. На всеобщее обозрение были вытащены ужасы сталинизма, подробности репрессий конца 30-х годов. Одна за другой на экранах телевизора появлялись жертвы коммунистических зверств. Это был ловкий и психологически хорошо продуманный ход – ничто не вызывает такого сочувствие в душе русского человека, как людское горе. Тысячные толпы, загипнотизированные обещаниями свободы и счастья, «как в свободном мире», образцом которых представлялась Америка, орали: «Долой! Да здравствуют демократия, свобода и права человека!» Все чаще на трибунах стихийных, но хорошо подготовленных митингов возникала фигура «мученика» режима Ельцина, а в окружении – какие-то Хакамады, Станкевичи, Гайдары, Старовойтовы, Собчаки, Поповы, Немцовы, Кириенки. Надежда демократии, академик Сахаров, в вожаки не годился, его хватило лишь на то, чтобы с трибуны съезда Советов высказать сочувствие к девочке, которая «плакала в автомате», перепуганная беспределом.

Решающей победой заговорщиков было исключение из Конституции СССР шестой статьи – о руководящей и направляющей роли партии в советском обществе. Горбачев, стоявший во главе восемнадцатимиллионной армии коммунистов, сдался без сопротивления. Он даже не трепыхался, не пробовал переломить ситуацию. Почему? Я не помню ни одной серьезной акции коммунистов, хотя бы попытавшихся остановить поток разрушения. Милиция, бдительно охранявшая сборища демократов, дубинками разгоняла демонстрации коммунистов, а генсек компартии, все так же мило улыбаясь, разъезжал по миру, внедряя «новое мышление», собирая дань и набирая кредиты. Рядышком светился властный лик «царицы земли русской» – ее портрет ловко приткнули рядом с соответствующим аншлагом на обложке «Огонька». Райкины – как звали ее в народе – наманикюренные пальчики также совершали хватательные движения, собирая «зеленые», а где и «брюлики». Такого история не знала – вождь предал свою партию и подставил ее под разгром. По слабости характера и стечению обстоятельств? Нет. Думаю, сознательно, по указке щедрых хозяев и следуя собственной доктрине «нового мышления». А дальше пошло-поехало, «бархатная» революция набирала обороты и набухала кровью.

Началась пора великой исторической лжи. Знаменитый автор фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин оплакивал Россию, «которую мы потеряли», представляя царскую империю, как государство всеобщего благоденствия и всенародного счастья, стремительно входившее в число самых передовых держав мира. И хоть бы тень сомнения, хоть бы один вопрос: отчего же счастливый русский народ в XX веке только за период с 1905 по 1917 год совершил три революции? Дурью маялись от избытка богатства, что ли? Почему российский народ был повально неграмотным? Как признак процветания деревни приводился довод: Россия кормила хлебом всю Европу. Спору нет – кормила, но сама-то жила впроголодь. Отчего же непрерывно богатеющий мужик жил в домишках-развалюхах, ходил в рванье и лаптях? Не знаю запаса жизненных наблюдений Говорухина, но я хорошо помню и косую избушку моего детства 20-х годов, и осклизлые

стены саманных халуп Саратовщины, и беспросветный мрак чувашских деревень поры 40-х годов. И пришли они к жизни такой не за годы Советской власти, а наследуя предкам... Кое-кто уже затосковал о царе-батюшке. В Москве появились претенденты на престол, и Никита Михалков, угодливо изгибаясь, водил по Кремлю толстозадого принца немецких кровей, весьма приблизительно связанного с семьей Романовых. До хрипоты принялись славить Александра II, царя-освободителя, забывая при этом, что освободил он крестьян без земли: хочешь иметь землю – плати выкуп, и вскоре большинство крестьянских наделов ушло в залог банкам, совсем в духе закона о земле, принятого недавно современной Думой. За образец государственного деятеля современные правые радикалы приняли Столыпина, который провалил реформу деревни, оставив о себе память «стольпинскими галстуками» и «стольпинскими вагонами» для перевозки заключенных. Хотят даже памятник поставить. Хорошо бы с петлей вешателя и за тюремной решеткой.

Потоки хулы и клеветы низвергаются на головы миллионов людей вот уже добрых 15 лет. Врут и по-крупному и по мелочам. Российская интеллигенция верна себе.

Отсчет всех бед отчизны нашей ведут от 1917 года, от Октябрьской революции, и винят во всем большевиков, Ленина. У меня свой счет к нему и к старым коммунистам. Влияние партии на историческую судьбу России несколько преувеличено. Ленин все силы тратил на внутрипартийную борьбу. Меньшевики, отзовисты, ликвидаторы, левые и правые уклонисты, социалисты – никто не был обойден его вниманием, и он, как боевой петух, все чистил и чистил перья в ожидании схватки с царизмом, сидя за границей. Там же укрывалась и наиболее активная верхушка партии. При помощи «Искры» и всякого рода «писем издалека», посылки эмиссаров он пытался управлять движением масс, прокламируя идеи коммунизма и тактические задачи партии на каждый конкретный период. Авторитет Ленина был велик, но сфера влияния довольно ограничена. Революция 1905 года была, по-сути, стихийным движением рабочих и крестьян, слабо связанных друг с другом, русским бунтом, и ее плодами воспользовалась либеральная буржуазия. Народный бунт, вызванный усталостью от войны, голодом и нищетой в феврале 1917 года, известный как буржуазно-демократическая революция, в основном прошел под лозунгом: «Долой войну! Хлеба! Хлеба!» В ней коммунисты также ограничились соучастием с меньшевиками и эсерами в Советах, так и не сумевших добиться полноты власти. «Землю крестьянам, заводы рабочим, мир народам!» – эти лозунги, давшие народному бунту стратегическое направление социалистической революции, Ленин озвучил после захвата власти в октябре 1917 года. Его подлинная мощь и организаторский талант проявились в правильном выборе момента удара по буржуазной государственной машине. Этот, в общем-то, бескровный и мгновенный правительственный переворот был поддержан всем народом. Несгибаемым бойцом зарекомендовал он себя в организации отпора реакционным силам, развязавшим Гражданскую войну. Не надо врать, ее начали не большевики, а свергнутые эксплуататорские классы при поддержке мировой буржуазии. Вспомним «заговор послов» и военную интервенцию, поход белой гвардии на Москву, наступление немецкой армии. Советской власти остался лишь клочок бывшей империи – Петербург и Подмосковье. Особенно сильной критике подвергается жестокость Ленина в этот период. Но будем справедливы: даже мышь, загнанная в угол, кидается на кошку. Момент, когда враг наложил руки на горло, не время для сантиментов. Но взять власть – это не диво, важно удержать ее. Что делать дальше с Россией, большевики не знали. Одни требовали мировой революции, другие считали, что построить социализм можно и в одной, отдельно взятой стране. Ленин лишь к концу жизни понял необходимость мирного сосуществования с капитализмом, разработал теорию компромиссов. Но и НЭП, и последние ленинские работы ЦК, руководимый Сталиным, представил партии, как плод нездорового ума. А дальше началась большевистская вакханалия.

Российская интеллигенция, начиная с Василия Голицына, наперсника царицы Софьи, Радищева, декабристов, разночинцев, народников, легальных марксистов, звала народ к

завоеванию справедливого и свободного мира, иные, как Герцен, не скрываясь, звали Русь к топору. Марксисты, не зная, в какой лагерь отнести интеллигенцию в классовом обществе, определили ее место как «прослойки». Но она оказалась, скорее, прокладкой. Ее использовали и выкинули. Алексей Толстой писал, что русская интеллигенция, выросшая в безмятежном лоне крепостного права, революции испугалась не то что до смерти, а прямо – до мозговой рвоты... Нельзя же так пугать людей! А? Посиживали в тиши сельской беседки, думали под пение птичек: а хорошо бы устроить так, чтобы все люди были счастливы... А когда приблизился тот, кого мечтали сделать счастливым, то пах он не розами, а немытыми портянками и мокрой сермягой, как протянул корявую руку на дружбу, шарахнулись от греха подальше. Российская интеллигенция предала столь любимый народ. Когда наступил победный час, то выяснилось, что ведать банком придется матросу Маркину, а управлять государством, заводами и фабриками – кухаркам. Пролетариат остался один на один с пирамидой проблем, не имея ни грамоты, ни опыта. А те, кто знал и мог, рванули за рубежи мятежной родины, посмеиваясь оттуда над неудачами и промахами новых правителей.

История повторяется. В конце XX века интеллигенция снова предала Россию, увлекши народ баснями о красивой жизни в «свободном мире», расчистив путь к власти авантюристам и грабителям, ибо сама не сумела найти курс и повернуть корабль в страну всеобщего счастья и благоденствия. Она лишь смогла раскачать его и пустить ко дну. Оказывается, управлять-то не могут. Зато умеют блюсти собственный интерес и разворовывать народные деньги. Сегодняшнее горе – на вашей совести, учителя жизни. Прокладку использовали и выкинули. То, что барахтается на поверхности жизни – хамское, злобное и алчное, – уже и отдаленно не напоминает звавшихся «российскими интеллигентами». Я отделяю от этой своры полунищих учителей и часть врачей, пытающихся сохранить добрые традиции.

Мне когда-то попала в руки распечатка так называемого «завещания» бывшего шефа ЦРУ Аллена Даллеса, содержащего план разрушения Советского Союза. Развал СССР шел как раз по этому плану. Вслед за устранением от власти КПСС начался развал союза республик. Прошла волна беспорядков в Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Риге. Пролилась первая кровь Горбачев сделал вид, что ничего не знал об этом. Но игра в «несознанку», как говорят блатные, была разоблачена. Первыми из СССР вышли прибалты. Другие республики заволновались и потребовали от президента Горбачева (он был уже в этой должности) искать пути сохранения единства. Но было поздно. На знаменитой сходке в Беловежской Пуще президенты Ельцин, Кравчук и Шушкевич объявили о выходе из Союза России, Украины и Белоруссии. Над будущим народов СССР была опущена черная пелена, наступила эпоха беспредела. Горбачева выставили из Кремля, как нашкодившего мальчишку. Союзное государство бесшумно, подобно карточному домику, развалилось. Совершилось предательство, равного которому не знает история.

К новой власти пришли так называемые демократы, выкидыши интеллигентской среды. И первое, чем занялись, принялись бесстыдно красть, красть и красть. Кругом расставили своих людей. Собчак уехал губернатором в Ленинград и вернул ему царское название Петербург, хотя область по-прежнему осталась ленинградской. В начальники московской милиции баллотировался врач-гинеколог, победил физик-теплотехник, но и тот не удержался – по пьянке потерял служебное удостоверение. В Москву зачастили эмиссары капитализма, плохо говорящие по-русски эмигранты или дети эмигрантов, эти требовали за свои бесполезные советы миллионных гонораров. Но авантюристов хватало и доморощенных. Прорвавшийся во власть Егор Гайдар провел финансовую реформу и росчерком пера превратил в нищих 185 миллионов жителей России – такого не смог сделать даже Сталин, изрядно потрепавший деревню. Второй реформатор – Чубайс – распродал за «ваучеры», то есть за копейки, крупнейшие предприятия России. Фабрики и заводы омертвели, колхозы развалились, а земля, бесценное и вечное богатство России, выставлена на торги. Проворные и бесстыдные «пацаны» взяли власть за горло, протянули бразды

правления криминалу: «Рулите, в натуре и конкретно». Как чертики из бутылки, повыскакивали миллионеры – банкиры, владельцы концернов, таинственных закрытых акционерных обществ. Секрета не было – миллионные состояния в основе своей имеют «черные» деньги. Крали и крадут все – предприниматели, «физические лица», государственные деятели и правоохранители, чиновники всех рангов и мастей. Появился даже термин такой – «откат». Это означает, что если ты получаешь от государства энную сумму, то обязан «откатить» часть ее чиновнику, который принимал или готовил решение. Образовались крупные собственники, началась борьба за сферы влияния, ударили первые выстрелы наемных убийц. Общество начало бурно криминализироваться, мафия подбирала под себя не только беспомощный средний класс, но и богатеньких, активно внедрялась в органы управления и власти. Несколько тысяч богатых и 150 миллионов нищих. На улицы вывалило племя проституток. Телевидение срочно пристроилось к американскому стандарту – ушла на задворки русская музыка, исчезли отечественные фильмы, эфир заполнило громохание поп-оркестров и истошный вой бездарных поп-звезд. Достоевский указал: красота спасет мир. Дашь красоту! Включаешь «черный ящик», и в глаза тебе лезут голые женские задницы или сиськи, а то и открытое совокупление полов. Другой стандарт – стрельба, кровь, насилие, дикий Голливуд. В литературный оборот густо пошла матерщина. Мерзость и грязь хлещут фонтаном с экрана одноглазого растлителя.

Вместо демократической России образовалось тоталитарное государство. Несмотря на наличие всех необходимых институтов власти, власти в России нет, нет закона ни наверху, ни внизу, и правды в ней не сыскать. Нет веры ни во что, нет и совести, само это слово вышло из употребления. Вместо серьезного анализа и изучения ошибок прошлого с экранов и страниц печати хлынуло осмеяние исторических деятелей, превращение истории в фарс, хамство и кривляние. Дураки представляют Россию миру, как страну дураков, карикатурно изображают бывших руководителей, не понимая, что унижение института власти откликнется неверием народа во властителей, особенно современных. Те, мол, побыли и ушли, и правду о них говорят или нет – поди проверь, а эти, вот они, живые, и творят в стране беззаконие и воровство, грабят Россию. Иначе откуда у них дворцы и миллиарды? Что, премьер Черномырдин стал миллиардером с зарплаты? А коммерческая деятельность ему запрещена законом. Значит, ворует, богатеет с «откатов». Народ России потерял веру и надежду на будущее, с безразличием смотрит на политические игрища.

Страх поселился под каждой крышей от Балтики до Тихого океана, от Белого моря до Черного, на улицах разбой и грабеж. Правоохранители – еще неизвестно, кого больше надо бояться, встретив ночью, хулигана или милиционера, потому что действия второго прикрыты законом. В стране более десяти лет идет необъявленная гражданская война, не считая Чеченской, которую, совестливо опуская глаза, называли антитеррористической операцией. Армия разложилась и обессилела. Дело доблести и долга – служение Родине – превратилось в презираемую повинность. Ежегодно насильственная смерть уносит жизни сотни тысяч человек. То и дело в больших и малых городах, даже в Москве, террористы хватают заложников и взрывают дома. Разве это не война? Обывателю все равно, кто у него забирает жизнь – чужеземный фашист или «родной» киллер. Два миллиона беспризорников скитаются по стране. За решеткой ежегодно до миллиона заключенных, как в 1937–1938 годах. Людям месяцами не выдают зарплаты. По нерадению новой власти жителей десятков городов в Сибири и на Дальнем Востоке и даже вблизи Москвы суровыми зимами вымораживают, словно тараканов – дома не отапливаются, в них не подаются электроэнергия и вода. Такого история не помнит. Российский народ, стремясь к демократии, обрел тоталитарный режим, жестокий и безответственный.

Горбачев разбазарил плоды победы над фашизмом, за что был удостоен звания «лучший немец года». Может ли быть более позорная похвала российскому президенту? А он ничего, утерся и даже был горд. Ельцин разорил наследие тысячелетней России, отдав Крым Украине, а исконные сибирские степи – Казахстану, вдрызг пьяный наносил

государственные визиты, потешая мир. Шеварднадзе подарил Америке сотни тысяч квадратных километров шельфа Тихого океана – не за спасибо же? Американские войска через НАТО и Польшу подступили к нам с западных границ и под предлогом борьбы с терроризмом в странах Юго-Восточной Азии основали авиационные базы в Киргизии и Таджикистане.

Бывшая великая держава, родина плеяды прославленных поэтов и ученых, принесшая миру освобождение от фашизма, проложившая дорогу в космос, распласталась на одной седьмой части суши разоренная и обессиленная – приходите и володейте.

Российская катастрофа приобрела планетарный характер. С развалом Советского Союза мир потерял устойчивость. Больше нет противовеса Соединенным Штатам, и они открыли эпоху государственного бандитизма. Наплевав на мнение Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, обрушили десятки тысяч бомб и ракет на Ирак, предварительно разоружив его. Уже вынашиваются планы оккупации других государств.

Наезжая в город и изредка встречаясь с бывшими коллегами, я с болью сердечной узнавал о разбое, который учинили новые вожди союза кинематографистов в системе кино. Прогнали Ермаша, Павленка, Сизова, заживем свободно и счастливо, каждый сумеет купить отель! Прав был тот американский коллега, который говорил, что нельзя доверять сумасшедшему управлению сумасшедшим домом. С какой остервенелой радостью принялись крушить то, что строилось десятилетиями, по винтику, по кирпичику разнесли киноиндустрию. Начали с разграбления собственного хозяйства. Кулиджановское правление оставило после себя прекрасный Дом кино и Киноцентр, сеть домов творчества и пансионат для престарелых. На счетах Союза кинематографистов в банке хранилось 15 миллионов рублей – сумма по тем временам огромная. Григорий Марьямов, бывший секретарь Союза кинематографистов, человек необыкновенно предприимчивый и талантливый организатор, годами создававший это богатство, жаловался:

– За два года прогуляли почти весь капитал. Повысили оклады, пошли презентации и премьеры с банкетами, и все рванули в зарубежные командировки, словно пытаясь наверстать многолетнее воздержание. Некоторые едва успевали заскакивать домой, чтобы постирать сорочки, а их уже ждали билеты на следующий рейс. И все с шиком, все первый класс... Скоро уже не будет денег, чтобы содержать пансионат для престарелых.

Но это, в конце концов, их дело, как тратить деньги. Хуже всего, что Союз начал навязывать свою волю органам государственного управления. Пока Ермаш был на прежнем месте, он пытался уберечь созданную более чем за полвека, хорошо отлаженную систему. Но когда пришел к руководству комитетом Александр Камшалов, он не сумел остановить разгул реформаторов. Дашь свободу предпринимательству и рыночные отношения! Для начала ликвидировали централизованный прокат фильмов, дававший возможность маневра кинофондом и концентрации средств для производства. Потеряв прокат, отпустили в свободный поиск кинотеатры, и те быстро поняли, что выгоднее зарабатывать арендой, чем возиться со зрителем. Фойе превратились в салоны по продаже мебели и автомобилей. Госкино, лишившись проката, остался без средств финансирования производства фильмов. Студии, получив независимость, кинулись во все тяжкие. Кто-то из руководителей «Союзмультфильма» ухитрился продать права на всю продукцию этой студии в Америку. Но это уникальное собрание рисованных кинолент – национальное достояние русского народа! Кто ответит за это «хищение в особо крупных», точнее, несчетных размерах? У России цинично украли часть ее культуры!

Остались без дела люди уникальной профессии – организаторы кинопроизводства. Не пришлось ко двору новым хозяевам даже опытейший из них – создатель и руководитель концерна «Мосфильм» Владимир Досталь. Свора продюсеров с сомнительными деньгами привела с собой свору других непрофессионалов – постановщиков фильмов. Наскоро клепались сотни кинематографических поделок, состоявших из клеветы и порнографии:

родившись, они погибали, не дойдя до экрана. На экран хлынул поток дешевого голливудского старья.

А мастера и подмастерья, забойщики перестройки, гонцы демократического будущего по инерции продолжали громить недавнее прошлое, стремясь подслужиться к новой власти. Одни были откровенными врагами советской власти, другие брызгали слюной по дурости. Быстро выяснилось, кто есть кто, и не только среди творческих работников, но и администраторов, бывших прежде при власти. Демонстративно и прилюдно бросил партбилет директор нашего внешнеторгового объединения, бывший первый секретарь Юрмальского горкома партии, член коллегии Госкино Олег Руднев. Сколько номенклатурных спинок потер он мочалкой, принимая московских боссов на курортах Юрмалы в советские времена! Перед лицом новой власти наступила пора и самому отмыться. Но предающий не может жить без клеветы, и он вскорости гласно, со страниц газеты «Известия» объявил, что российские картины не получают места на экране, потому что Ермаш, Павленок и Сизов специально наводнили кинорынок зарубежным вторсырьем. Воистину, чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. Ни я, ни мои коллеги не стали опровергать Руднева. Во-первых, свободу слова пришедшие к власти демократы предоставили только тем, кто ругал коммунистов и Советскую власть. Во-вторых, я уже привык к тому, как обо мне писали, что я был там-то и там-то, где не был, и говорил то-то и то-то, чего не говорил. Возмущало лишь, что никто из авторов подобного рода вымыслов не искал встреч со мной, руководствуясь исключительно сплетнями, а сколько их бурлило и бурлит в творческой среде! Я пишу эти строки спустя 18 лет после моего прощания с Госкино, а поди ж ты, мутные пузыри все еще всплывают над болотом прошлого. Недавно популярный актер Дмитрий Харатьян сообщил по телевидению:

– Я должен был играть Пушкина в фильме у Хуциева, но Павленок сказал: «Роль великого русского поэта должен играть русский актер».

Олег Стриженов, с которым мы были довольно близки, «порадовал» запоздалой благодарностью:

– Правильно вы сделали, когда настояли, чтобы роль князя Волконского в фильме «Звезда пленительного счастья» отдали мне, сказав: «Негоже, чтобы русского князя играл еврей. Утверждаю Стриженова».

Невдомек и одному, и второму, что я ни русских, ни армян, ни евреев на роли в фильмах не утверждал, да и никогда не обращал внимания на национальную принадлежность творческих работников. И сам-то я не русский, а белорус. Видно, меня и в самом деле считали всемогущим в кино. Я не стыжусь прошлого, потому что по мере сил пытался защищать высокий смысл киноискусства, ограждать его от проникновения халтуры и пошлости, защищать подлинно гуманистические идеалы. Я горжусь этим. Мы были плохие начальники, а кинематограф, в руководстве которым имели честь состоять, был великим. Теперь начальство хорошее. Но оно не в силах воссоздать из пепла порушенную кинематографию. Большинство кинолент, мягко говоря, никакие. Правда, министр культуры грозит, что скоро производство фильмов вырастет до уровня 70-х годов. Неужели он и подведомственные ему коллеги считают кинематографом те халтурные поделки о проститутках и «ментах», которые идут непрерывным потоком на телеэкране в паузах между рекламой? Наряду с поп-музыкой и попкорном родилось невзыскательное поп-кино.

Недавно, участвуя в каком-то ток-шоу на телевидении, народный артист России, известный режиссер Сергей Соловьев темпераментно и яростно кричал:

– Загубили кинематограф! Разрушили! Разорили!..

Кто? Посмотритесь в зеркало, Сергей Александрович! Не вы ли со товарищи гнали из кино тех, кто вас выучил и поставил на ноги? Не вы ли, взявшись руководить, разорили и разрушили систему управления сложным технико-экономическим комплексом производства фильмов? Не вы ли громче всех орали «долой» Советской власти и «да здравствует» приходу безвластия и беззакония? Не при вашем ли активном содействии и участии Русь склоняла голову перед вторжением губительного вируса западной псевдокультуры? Все вы молились



на Америку, словно не видя, что она занимала ведущее место в мире не только по изобилию жизненных благ, но и по количеству преступлений, проституции, коррупции, всевластию мафии. Общество, где человек – раб золотого тельца и бога алчности, иным быть не может. Вы звали наш народ в этот мир, ханжески названный свободным. Несчастье русского народа в том, что он верит вождям и красивым словам.

Деятели культуры отдали теле- и киноэкраны пошлости и грязи, воспеванию насилия и бесстыдства, соревнуясь в презрении к народу, предали осмеянию понятия любви человеческой и любви к Отчизне. Хамство и матерщина получили прописку в произведениях писателей и кинематографистов, в публичных выступлениях артистов, применительно к фильмам появились слова-новоделы «порнуха» и «чернуха». Стараниями творческой интеллигенции Россия представляется миру страной бескультурия, а народ ее пьянью, воровством, проститутками и дураками. Последовательно и неуклонно идет растрясание российской культуры, насаждение бездуховности и алчности. За 15 лет духовный облик народа пал на дно жизни, и сегодня Россия – это уже другая страна. Вирус алчности ведет к озверению общества. Народ утратил веру и надежду, тупо бредет неведомо куда. Разрушение культурного слоя – это умирание нации. Начиная «Воспоминания», я обещал писать только правду, то, что сам видел и пережил. Свидетельствую и утверждаю: развал и унижение Великой России – на совести интеллигенции.

А как же насчет «каждому режиссеру по гостинице»? Ушли из жизни униженные и поруганные великие режиссеры, а остальные люди этой профессии в большинстве владят жалкое существование. Гроши, которые выделяет государство для кинопроизводства, растворяются в небольшой кучке приближенных к руководству, а остальные окусываются возле Ее Величества Рекламы и клеят безликие фильмы-близнецы, один бесконечный детектив, памятник безвременью. Наиболее предприимчивые стали хозяевами ресторанов, парикмахерских, фирм и фирмочек. Использовали и выкинули...

Поистине безгранична любовь народа к артистам кино. Приехали мы однажды с Николаем Крючковым в Ярославль на фестиваль, вышли из вагона, и нам на перроне вдруг заступил дорогу малыш лет семи.

– Мама, – крикнул он, – смотри, настоящий Крючков!

Это было в пору, когда пик актерской славы Николая Афанасьевича уже миновал, а вот поди ж ты, узнал его малышка! Где, во сколько лет, в какой картине увидел он поразившего его сердце кумира, врезавшегося в память настолько, что сумел мгновенно выделить из толпы его невысокую фигуру в кепочке и темном плаще.

Сегодня страшно бедствуют актеры кино. Подавляющее большинство их не востребовано искусством, угнетает безденежье, ибо пенсии крохотные. Мы с ветеранами кино Тамарой Удодовой и Дмитрием Васильевым образовали при благотворительном фонде «Киноцентр» творческую группу «Звезды кино» и время от времени с помощью директора кинотеатра «Художественный» Нины Прокоповой устраиваем встречи знаменитых корифеев со зрителями. За последние годы провели более 50 концертов. Деньги для этого собираем, что называется, с миру по нитке. Народные и заслуженные артисты благодарны и за эту поддержку. Государство не может найти средства, чтобы обеспечить достойную старость тем, кто покорял сердца миллионов и зарабатывал для России миллиарды. Сердца нынешних правителей недоступны ни благодарности, ни состраданию.

Тяжелы бессонные ночи, а уснешь, проснешься – возвращаешься в ту же ирреальную реальность. Неужели я живу в стране беспредела, неужели это не приснилось мне? Я прошел большую и нелегкую жизнь. В прошлом и война, и землетрясение (да, сподобился попасть на то самое, ташкентское), раны и болезни, полунищее существование. И все же я был счастлив, ибо жил в великой России, пил из источника богатейшей культуры.

Мне и в страшном сне не виделось, что доживу до исторического катаклизма, до краха Государства Российского. Куда летишь ты, Россия? В бездн, в никуда? Кто направит путь твой? И кто ответит за поругание и гибель России? Преступники живы и не испытывают мук

совести. Меня поразил Горбачев, которому в нынешнем, 2003 году перед объективом телекамеры задали вопрос:

– Счастливы ли вы, Михаил Сергеевич?

Он ответил, не задумываясь и широко улыбаясь:

– Да, я счастлив. – Потом, видимо, устыдясь такого категорического заявления, принялся уточнять, отчего он счастлив. Лучше бы промолчал, потому что, как выяснилось, его счастье состоит в несчастье миллионов.

Старший внук мой, 30-летний Владимир, никогда не игравший в политические игры, недавно сказал:

– Посмотришь на беспредел, который творится в верхах, жить не хочется.

А господа, дорвавшиеся до денег и власти, разбились на партии, фракции, фонды и все спорят, каким цветом триколора выкрасить дорогу, ведущую народ к былому величию. Ребята, может, хватит играть в «красные-белые»? Пора спасти Россию, она гибнет. На первый взгляд, сегодня все благополучно. Магазины набиты продуктами и товарами, по дорогам бегают миллионы автомобилей, вдоль улиц, как грибы, вырастают новые дворцы и громады многоэтажек, жизнь стала ярче, динамичней. Но не хлебом единым жив человек. Россия, к которой мы привыкли, ушла в прошлое. Алчность иссушает души людей, рынок убивает культуру. У народа через поколение будут иные понятия о совести и нравственных ценностях, изменится сам великий и тонкий русский язык... А кино? Нынешнее руководство – первый зам. министра культуры А. Голутва, начальник службы кинематографии минкультуры С. Лазарук – бьется над тем, чтобы поднять рухнувшего гиганта. Но не хватает средств и квалифицированных кадров. Утрачены традиции, разорвана преемственность творческих поколений. Молодой режиссуре фактически не у кого проходить серьезную школу, ибо мастера старшего поколения почти не заняты в производстве. Особые трудности связаны с оккупацией киноэкранов американскими фильмами. Уже не одно поколение зрителей заглатывает голливудскую эстетику, да и наши молодые режиссеры в стремлении овладеть зрителем пытаются завлечь его стряпней на манер Голливуда. Редкие работы таких выдающихся мастеров, как Герман, Панфилов, Тодоровский, Говорухин, Михалков, Соловьев, Мельников, не в силах противостоять натиску чуждой нам культуры. Подают надежды несколько фильмов творческой молодежи. Говорят, что в 2004 году на «Мосфильме» будет поставлено 100 картин, это вдвое больше, чем в пору его расцвета. Но десятками и сотнями считают яйца в корзине, а произведения искусства ценят по художественному достоинству. Что выйдет из цехов старейших студий – романтика криминала или фильмы, наследующие родному кино? Хочется верить, что второе.

P.S. Когда я вычитывал эту рукопись, пришла весть с Венецианского фестиваля об ошеломительном успехе нашего фильма «Возвращение». Хочется верить, что это – знак возрождения лучших традиций российского кинематографа.

*2003 год, Москва*

## **Иллюстрации**

**Борис Владимирович Павленок**

Борис Владимирович Павленок.

## **Родители**

Родители Юлия Федоровна и Владимир Онуфриевич.

## **Мы – студенты**

Мы – студенты. 1953.

## **Летят утки**

Летят утки. Ну и пусть летят...

## **Родные пределы**

Родные пределы. Деревня Ямполь, Белоруссия, 60-е годы.

## **«Они сражались за Родину» (1)**

Рабочий момент на съемках фильма «Они сражались за Родину» (1975, режиссер Сергей Бондарчук)

На фото: Василий Шукшин (слева) и Иван Лапиков.

## **«Они сражались за Родину» (2)**

Рабочий момент на съемках фильма «Они сражались за Родину» (1975, режиссер Сергей Бондарчук).

На фото (слева направо): Юрий Никулин, Василий Шукшин, Нонна Мордюкова.

## **«Фронт за линией фронта»**

На съемках фильма «Фронт за линией фронта» (1977, режиссер Игорь Гостев).

## **«Москва XVII века»**

«Москва XVII века». Съемки фильма о Петре I по заказу CNN. 1985.

## **Съемочная группа фильма «Помни имя свое»**

Съемочная группа фильма «Помни имя свое» (1974, режиссер Сергей Колосов, СССР – Польша).

## **Неделя советского кино во Франкфурте (1980)**

Неделя советского кино во Франкфурте (1980, ФРГ).

### **На премьере фильма «Доверие»**

На премьере фильма «Доверие» с премьером Финляндии Урхо Кекконеном (справа) (1976, Хельсинки, Финляндия).

### **С директором киностудии г. Сараево**

С другом, директором киностудии г. Сараево (Югославия) Слободаном Иовичечем.

### **На студии «DEFA»**

На студии «DEFA».

### **Встреча с Раджем Капуром**

Встреча с кумиром 50-х годов Раджем Капуром (Индия) В центре – узбекская актриса Диляром Комбарова.

### **На приеме у г-жи Индиры Ганди**

На приеме у премьер-министра Индии г-жи Индиры Ганди.

### **С вьетнамскими товарищами**

Военные операторы Народно-освободительной армии Вьетнама просят помочь в съемках художественных фильмов (1977, Ханой).

### **Мы из десанта!..**

Мы из десанта!..